



Татьяна Мудрая

КОТ

СКИТАЛЕЦ

Татьяна Мудрая Кот-Скиталец

Текст предоставлен автором
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=4922257

Аннотация

В разгар зимы встречаются двое – люди разного возраста, разных жизненных устремлений, по-разному укорененные в реальности. Одно лишь парадоксально их роднит: они владеют – она котом, он кошкой. Или наоборот – это кошки-найденёныши владеют ими. И, помимо всего прочего, они влюблены друг в друга – как одна, так и другая пара. Но – невозможно, несбыточно...

Чтобы им вновь и «правильно» найти друг друга, старая женщина приходит в удивительный мир, состоящий из Запредельного Леса, где правят обладающие высоким разумом звери, Города Людей, которые едва ли умнее и лучше животных, которые им подчиняются, и Гор, где всецело господствуют властные оборотни. У женщины, ставшей в Лесу вновь юной, рождается дочь и появляется сын; между друзьями завязываются союзы, за дружбой следует по пятам предательство и за изменой – прощение. Все находят то, для чего предназначены, – и всё-таки никогда не может кончиться Странствие.

А за этой причудливой игрой наблюдает сила – доброжелательная и слегка ироничная, властная и любящая.

Содержание

Глава I. Старорутенская	5
Глава II. Лесная	86
Глава III. Маргинальная	187
Конец ознакомительного фрагмента.	212

Татьяна Мудрая

Кот-Скиталец

Зу-н-Нун Мисри рассказал:

«Странствуя в пустыне, я повстречал женищину. Она спросила меня: «Ты кто?» Я ответил: «Чужак». Тогда она сказала: «Разве рядом с Аллахом Всевышним может быть печаль чужбины?»»

Суфийская притча

Самый дешевый вид гордости – гордость национальная. Ибо кто ею одержим, обнаруживает этим отсутствие в себе каких-либо индивидуальных качеств, которыми он мог бы гордиться, так как иначе ему незачем было бы хвататься за то, что у него общее с миллионами. У кого есть выдающиеся личные достоинства, тот, напротив, всего яснее видит недостатки своей собственной нации, так как они постоянно у него на глазах. А всякий жалкий бедняга, у которого нет за душой ничего, чем он мог бы гордиться, хватается за последнее средство – гордиться той нацией, к какой именно он принадлежит: это дает ему опору, и вот он с благодарностью готов кулаком и пятой защищать все присущие этой нации недостатки и глупости.

Артур Шопенгауэр. Мир как воля и представление

Глава I. Старорутенская

*Живи в этом мире так, как будто ты
чужестранец или путник.*

Пророк Мухаммед (из 40 хадисов Ан-Наваби)

*Черная кошка пьет из лужи с ледком,
Лопатки торчат бугром.*

*Пес-побродяга свернулся на куче подгнившей
листвы:*

Осень золотая, время тоски. Где мой дом?

Посреди того, что им наречено, – облупленной многоэтажки с общим бункером и общей кодовой дверью на каждые четыре квартиры – о, этот верный и вечный запах земли и грязи! – возлежу я на древней диван-кровати, в серой паутине то ли ночи, то ли раннего полуутра ножки одра моего проникают вплоть до последнего яруса здешнего мироздания, нанизывая на себя все низлежащие семь этажей с их духом табачного и винного перегара, мочи, заднепроходных газов и смрада сонного дыхания людей; а восьмым по счету – бельэтаж, то бишь нулевой цикл, где ствол моего Одиссеева семейного ложа омывают фекально-подвальные воды, где орошают его бродячие скоты, которые имеют внизу место постоянного проживания: коты и кошки, бомжи и бомжихи, кобели и суки с приплодом, – и где язвят его легкокрылые

городские комары и прыткие межсезонные блохи. (Мыши и крысы, по словам моего друга, здесь приходящие – полевые и метровские, то же «метровые». Имеется в виду, очевидно, размер от головы до кончика хвоста.)

Сверху же нависают надо мной всей чугунной тяжестью воздушно-небесного столба в сто атмосфер другие семь этажей с покрытиями и перекрытиями, вдавливая мои плечи в подушку. Духовный Спитак!

Только в ответ ему я отзываюсь не одной только болью. Ибо я, расплющенная и смятая, как матрас, в то же время – перешеек между двумя мирами, ближним и дальним, «дунья» и «эхирату». Между смертью и жизнью я сплю и одновременно бодрствую, и трезвение мое остро, как хрустальная игла, и дремота моя призрачна и прозрачна, будто радужная пленка на зацветшей воде старого пруда...

Воистину, достали меня воды до души моей!

То был застойный прудок по детскому прозвищу «Балатон», с торфяной водицей, что обрела от века роскошный цвет чайной розы. Этой водою, вонючей и мягкой, ополаскивали мне после мыла волосы, чтобы лучше росли и не секлись, и заодно голову. Мозги, я так полагаю, тоже получили свою дозу, и это сказалось на моей дальнейшей способности рассуждать. К сему стих:

*Чтоб путешествовать, не нужно, брат, «колес»,
Чтоб воплотить улёт – не надо ероплана*

(для особо наивных вариант: не надо даже «плана»).

*Проснись и вновь засни ты на заре туманной,
Когда с мозгов всю хмарь полночный ветр унес.*

Скажи кому-то: «Господи, услыши:

Я прозябаю здесь и вяну тут.

Мой дом без башни и чердак без крыши,

Там не шуряют серенькие мыши

И даже тараканы не живут.»

Не ахти как складно и наблюдается привычное для моего менталитета смешение стилей – высокого с низким, старославянского с попсовым. Однако суть вопроса выражает, а это есмь главное.

И впрямь, самое милое для меня время – именно утреннее, между сном и явью, причем как раз в таком порядке. Вечером, когда ты только-только начинаешь уходить от сиюминутной жизни, с нее мигом слетают все пестрые фантики, веселенькие обертки, и за левой ножкой стула с аккуратно сложенным на нем домашним халатом раскрывается некое мрачное зияние. Раззявилась пропасть и посылает тебе садомазохистские кошмары, как в дошкольном детстве, когда у тебя, типичного ребенка страны Рутении, не бывало перед глазами никакой западной продукции, никаких юморных и одновременно жутковатых комиксов и триллеров, а поэтому всю-то ночь напролет гонялись за тобой архаически серьезные персонажи сказок братьев Перро. Сладострастный Волк разевал пасть на твой алый беретик, ищучи тебя скушать,

Людоед гонялся за тобой по узким лесным тропам с высоко подъятой дубиной, грозясь насадить на ее конец, а гнусная ухмылочка герцога Синяя Борода скрывала за собой запретную комнату с пауками по углам и кровавыми пятнами на полу – уж не твоими ли?

Ну и какая радость из того, что за бугром фантики пора- дужней! Видывали мы и такие. Я помню, как моя дочка соби- рала их и разглаживала для игры со своими первоклассника- ми, попутно поедая карамельки из венгерской, что ли, серии «Большой Зоосад», подаренной блатными друзьями отца: то был скрытый двухступенчатый каннибализм, когда меньшо- го брата оборачивают (от «оборотень») конфетой, заверты- вают в яркую бумажку и сжирают уже в таком вполне закаму- флированном виде. Куда больше мы с дочерью любили под- бирать голые оболочки: эту серию, уже порожнюю, я налов- чилась высматривать в траве обочины метров за десять, ибо чего не достигнешь во имя любви к чаду – и зрение наце- лишь, и земной поклон сотворишь. Потом мы эти картинки мыли, сушили и оклеивали бандерольками. Учет и конт'оль, това'ищи, учет и конт'оль – вот наша главная рутенская доб- родетель!

Поистине, от любой жизни, здешней ли, заграничной, за вычетом фантика остается отнюдь не конфетка: скорее на- оборот. Сначала обнаруживается, так сказать, фантик вто- рого рода, неотмытый и грязный; а за ним... Тот же стуль- чик имени Блэза Паскаля раскачивается, зависая одной нож-

кой над inferнальною бездною, и экзистенциальные чаяния масс здесь и там, на нашей всеобщей Улице Вязов, выражаются и олицетворяются лупаной харей Фредди Крюгера, что нахально и сладко пялится изо всех углов сразу. Почему никто не догадывается при этом виде ни спрятаться под одеяло с головой, ни выпалить прямо в харю, что она невсамделишная, – не берусь судить.

Правда, то, что дает Фредди жителям его улицы, а в частности мне, совсем не плохо, по крайней мере, не хуже иного прочего. И служба у меня такая, какая вымечталась, и физический муж был, и платонический любовник, и дочка выросла красивая, способная, с хорошим мужским характером (то есть в равной мере без бабской сентиментальности и без грубости противоположного пола). Все, как и заказывалось судьбе: а что действительность малость потусклее идеала, так на то он и идеал, в самом деле, чтобы пообмараться об жизнь и не высвечивать самоварно.

Высветиться же или, что одинаково, засветиться – значит потерять маскировку. Маскировка же... Словом, спаси нас, Высокий и Великий, от завистника, который завидует!

И все-таки... тот привкус, который оставляет на губах этот воплощенный и вочеловеченный идеал... идеал с человеческим лицом... Как говорил наш великий народный поэт-аристократ, мы пьем из чаши бытия с закрытыми глазами – наверное, чтоб не противно было и чтобы не задавать себе вечных вопросов: почему это невозможно низвести идеал

на землю без такого вопиющего ущерба? Что такое мы (или, что то же, каков объем понятия «человек» и его границы)? И в чем, растудить его, смысл того, что человек вообще пьет из чаши, иначе говоря, живет с кое-каким удовольствием, а не сразу, с пеленок, налагает на себя ручки?

Вот то, что стоит на донышке чаши... Не чаши – любого дня.

Однако ночью происходит алхимическое очищение: **нигредо** удивительнейшим образом превращается в **альбедо**. О Белая Бессонница, темная леди и прекрасная дама моих сонетов! Когда ртутный фонарь светит в окно, подобный пурпурной луне, пьяной луне с подбитым глазом, и гремит во дворе кузовом припоздалый мусоровоз, и выблескивает из оставшейся от прошлого раза поганой кучи чадное рыжее пламя, когда лирически перебрехиваются во дворе пьяницы и собаки, а бродячие тротуарные бабки голосами, отшлифованными в долголетних кухонных прениях, обсуждают последний закон, одобренный президентом и отвергнутый парламентом (или наоборот, что не меняет ровным счетом ничего); тогда...

Тогда тело мое привычно отключается от зрения, обоняния и слуха, шума и ярости, страсти и гнева и возлежит, еле вздыхая, под простыней, в царстве физического полусна и духовной полусвободы. Мысль моя работает бесконтрольно и безмятежно, и каждую секунду вспыхивают в ней слова, поминутно округляясь в элегантные фразы и ритмические

периоды. А когда она вступает в завершенность часа и на циферблате настенных часов длинная, тонкая стрелка накрывает собой коренастую и толстенную, — тогда вдруг плещут над бездыханной моей плотью крылья иномирного, трансцендентного бытия, куда более весомого и внятного теперь, чем посясторонняя крысиная, тараканья и человечья суета, чем бремя паскудной нашей рутенской — рутинской — рутинной обыденщины, которая наваливается днем на мою мысль, стоит ей чуть двинуться кверху.

Мое ночное бытие — оазис тишины посреди праздно и попустому суетливого мира, арабская мелодия, которая вливается в ухо бестолковых шумов своей гаммой, выстраивая их согласно звучанию своего внутреннего камертона. **Дур муфассал...** Или — совершим несколько фантастичное **разделение**, не вполне соответствующее знакам письма. Вот такое:

До — харф Даль,
Ре — харф Рэ,
Ми — харф Мим,
Фа — харф Фэ,
Соль — харф Заль,
Ля — харф Лям,
Си — харф Син.

Сознание мое — тончайшая, вибрирующая нить между обоими мирами, то, что остается за вычетом **эго**, благой осадок народа Израилева. Явь и сон, жизнь и смерть — что из них

есть первое, что – второе? Не различить. Оба мира противостоят – стоят – существуют лишь потому, что у меня бессонница и я грежу. Оба хотят целиком воплотиться через меня – какой одолеет?

Успокойся. Днем ты не ведаешь, не ощущаешь, не знаешь того, что в твоих силах подарить победу одному из двух миров – не двинув и членом, не шевельнув и ресницей, лишь позволив потоку сна унести тебя вниз по темным кругам мироздания, по виткам великой спирали к ее истоку. Помни, без истока не возникнет дельты!

Теперь не шевелись, не пробуждай тела и телесности твоих дневных ощущений: не тебя касается ткань, не по твоему лицу струится воздух из полуоткрытого окна. Отрешись от дневных сует – иначе снова проснешься в ложь. Уйди в сон, истинный, сладостный сон, доверься ему, ибо в нем стирается то, чем ты мнишь себя, и остается то, что ты есть на самом деле. Уйди к своему истоку, он – причина тебя. Твое начало прояснит твой конец, придаст завершенность твоему бытию. Играй. Как в раннем детстве, в момент утренней истины, выдумай персонажи, расставь их фигурки на внутреннем экране лобной кости, чуть повыше своих земных глаз. И объявляй начало спектакля.

Подними себя ввысь, в утро. Доверься утру. Роди себя в утро!

...Занавес поднят.

...Детство мое, географически отнесенное к стране Рутении, или, в старинных источниках, – Русинии (последнее этимологически производится от местного наименования цвета волос, тогда как первое – от латинского термина, обозначающего однообразие), по большей части протекало во сне, куда то ли я сама себя вгоняла, то ли вгоняли (разумеется, по недомыслию) мои старшие. Но если вы подумали о ежедневной повинности после обеда лежать в кроватке с открытыми глазами и притворяться... Нет, о ней не распространяюсь, хотя она как раз из той оперы. Впрочем, двойное пребывание в квазибытии – мара в ночи и майя во время дня – существовало одновременно, в качестве двух противоположных сторон одного и того же сна, таковыми не осознаваемых. Если исходить из того, что и наша обыкновенная жизнь нам снится, как говаривал один из учеников знаменитого гурзу Гурджиева, причем ее корка, ее оболочка поверх настоящей жизни становится все толще в процессе злоупотребления, – то старания взрослых сводятся к неосознанному гипнотизированию детей, имеющему целью силком втолкнуть, вымыть, так сказать, юных потомков в прелесть и соблазн, овладевшие предками, и заставить разделить это со старшими. А детки инстинктивно пытаются не поддаваться... Много позже я прочла у доктора Спока (модная книга эпохи застоя) о странной привычке грудничков ритмично биться головой о стену или спинку кроватки – это приводило в недоумение и почтенного педиатра, и – несколько раньше – моих

юных родителей. Я так думаю, в этом выразилось желание деток выйти из кошмара, пока разумеется, он еще ощущается как кошмар. Лет эдак до шести.

Кстати о родителях. Священному предопределению довелось немало потрудиться, чтобы согнать их с места исконного проживания (одну – репрессией ее собственного родителя, другого – воинским призывом и Великим Всенародным Побоищем) и вытеснить на самый дальневосточный край рутенского света, чтобы они встретились и зачали меня. Как будто нельзя было добиться этого с куда меньшими затратами... однако ему, провидению, виднее. Во всяком случае, мое первое, полуторагодовалое детское впечатление родом именно с той самой окраины. Торжество зеленого цвета: чьи-то руки несут меня мимо свежеокрашенного забора, стройные штакетины чередуются, как струны арфы, и от этого в моей голове рождается музыка – я верчусь и прыгаю на чужих руках ей в такт.

Как говорят, очень скоро мы оттуда выехали, повинувшись тяготению центра. До отцовых мест мы не добрались, к материнским не пристали и осели как раз посередке, тем более что то была самая что ни на есть рутенская столица. Точнее, один из ее рабочих пригородов. Сама поездка, очень тягомотная: паром, поезд, телега, – начисто выпала из моей памяти. Наверное, как нечто малозначащее. И вот я в полупустом доме, где приходится спать на полу; там я и сижу, и танцую на бабкиных коленях. Бабушка была первым суще-

ством, которое я постигла, когда мир начал терять свою первоначальную синкретичность и целостность, расчлняясь на отдельных персонажей. Несколько позже в нем появился дед, точнее – отцово-дедовское начало. Дед, моя нянька и утешитель, выделился во время одной из моих частых детских хворей, отец – в связи с дарением плоской белой коробки, на крышке которой были нарисованы рыжие в пятнах гончие; внутри коробки были шоколадные конфеты – редкость из голкондских копеек! Ну, а маму я по-настоящему уяснила для себя в миг, который устрасил меня своей необъяснимостью. Визжащий выводок неких грязно-розоватых созданий сокрушил ветхий соседский забор, смерчем пронесся по нашему двору и вогнал меня прямо в ее объятия.

Стадо буйных поросят было подобием моего детского ада. А преддверием рая – два светлых, золотисто-коричневых ствола «шишкинских» корабельных сосен, которые поднялись прямо напротив нашей калитки. (Литография «Сосновой рощи» была напечатана на бумаге, наклеенной на картон и обведенной дешевой рамкой, и ее мы повесили в гостиной, рядом с другой, где Иван Царевич увозит задумчиво спящую царевну на огромном, как добрый мул, Сером Волке, иронически свесившем на сторону алый язык.) Сосны – любимое пристанище, блаженное место для игр, целым сонмом шагов отделенное от нашего дома: там начиналась моя робинзонада, там, в песчаном углублении меж корней, я чувствовала себя счастливо укрытой от нудной повинности

дневного сна, умывания холодной водой из горсти, от колючего ворота домотканых свитеров и стеснения чулочных резинок, притянувших чулки к лифчику; избежавшей каторги нескончаемого триединого кормления, плена гигиенически полезных предписаний, кабалы всеобщей и вечной любви.

Здесь, вне зависимости от земных времен, пребывало лето; часы и дни тянулись неторопливо и бесконечно, и на лужайке позади сосен из года в год выбрасывала пышный колосок неприхотливая трава для игры в «петушка-курочку», из века в век пушистый лист манжетки рождал для меня драгоценную каплю радужной росы, округло искрящуюся в его пазухе. Истинная жизнь стояла здесь посреди, как озеро чистой воды; только вот она все отдалялась от меня и отдалялась, уходила за некий невидимый покров. Поначалу, чтобы разорвать его, хватило бы разок перевернуться через голову каким-то диковинным образом, возможным и невозможным одновременно. Сей акробатический этюд был для меня недостижим и в своем стандартном варианте – я не очень-то была ловка. Как-то, оступившись на чердачной лестнице, я раз пять-шесть... но об этом как-нибудь в другой раз, уж больно жутким ревом это для меня закончилось.

Итак, мне оставалось просто играть: стрелять из бузиновой дудки ее же зелеными соцветиями, сгребать траву на корм неведомым и невидимым зверям (что поделаешь, дети – ужасные гусеницы от природы). И пить кипяченую воду из любимой банки изжелта-зеленого стекла, на боку, у самого

донышка которой угадывалась женская головка в профиль, с распущенными волосами – такой был необычный изъясн в работе стеклодува. Я категорически отказывалась пить из иного стекла, белого ли, голубого или классически бутылочно-го, – пока это не разбилось. Потому что знание о том, подругую-сторону-стоящем, настоящем и вечнозеленом мире было записано именно в этой воде, как и в запахе чуть приямтой травы, в дуновении тягучего ветра, теплого, сильно-го, сухого, как руки моего деда, в пышном белом и дюралевом рокоте рукотворного небесного шмеля – примете ясно-го полдня. Даже во время зимней чистоты и белизны лес потаенно дышал горним теплом. Сотворить в этой малой все-ленной переворот, как и объяснить его насущность другим: родителям, приятелям по игре, – для этого были необходи-мы иные знаки, как бы светящиеся изнутри; слова-перевер-тыши, фразы, изогнутые, как лист Мебиуса (нехитрый фо-кус, который показал мне муж моей бабки), голографически причудливые жесты.

Этот мир постоянно вспухал, прорастал, плодоносил об-разами. Легкий очерк той самой женской головки, которую не видел никто, кроме меня; зыбкие узоры на старомодном коврике, что расположился над моей кроватью и провожал меня в каждое сонное странствие – лучше всего было сле-дить за их перерождением тогда, когда я лишь притворя-лась, что сплю; теневые пятна на обоях и клочки чистого цвета на книжной картинке (лимонный цвет на исподе каф-

тана Ивана-Царевича, который бежит за каретой, увозящей от него Царевну-Лягушку), которые прямо-таки заволакивали, — все это разрасталось, заполняя собой податливое воображение.

Две стороны этой образности. День — сияние времен, дружелюбие пространства, открытость души, счастливое одиночество среди близких. И в противовес — клубящийся ужас ночи, когда бесформенная и вязкая тьма порождает чудовищ: зубастые пасти, волчьи глаза, драконьи изгибы и шипы. Ибо зло, не имеющее облика, куда невыносимее, я это знаю тоже: мой страх перед этими тварями куда сильнее их уродства. А предвкушение куда хуже самого страха: вот они свились в невидимый клубок у печной дверцы, за поддувалом, внутри железного листа, что на полу, и затаились, ждут, пока заснут дед и бабушка, которые спят рядом со мной в крохотной комнатенке; ждут, чтобы просочиться наружу.

Ради своего спасения я представляю, что забралась в ноги моим старшим и свернулась наподобие котенка. На самом деле это мне запрещено, а теперь там вообще нет места — я выросла; но все-таки страхи отчасти уходят, жуткие образы растворяются в том, что их породило. Зато теперь через полуоткрытую дверь соседней каморки (там у нас умывальник и столовая) на фоне тускло светящегося окна замаячили два бледных силуэта: один садится на воздух, другой беззвучно говорит с ним, сопровождая слова какой-то удивительно плавной, текучей жестикуляцией. Зрелище тоже не из обык-

новенных; но я успокаиваю себя тем, что это отец и мама, наверняка зная, – нет, не они, слишком красивы. Однако эти двое приносят избавление и сон.

А утром, на ясном свету, желтое байковое покрывальце на спинке моей кровати становится местом для спектакля. Бабушкин узкий самошитный лифчик красного цвета – молодая супруга, а ее же широкие и длиной по колено черные трусы – пожилой муж. Следует комическая сценка на два голоса, умеренно фривольная (что вы хотите, мне едва пять лет от роду): он ее ревнует, она дуется и кокетничает, он прощает и зазывает к себе в объятия, но она, к сожалению, не может двинуться с места, потому что отлучился кукловод... Тут сцена вздрагивает от грохота охалки поленьев, которую дедусь обрушил на жестяной под нашей печки-голландки. С визгом распаивается дверца, принимая новую пищу своему пламени. Рука кукольника снимает фигурки с рампы: до сих пор бабушка собирала завтрак полуодетой, в кофте поверх байковой мужской сорочки, заменяющей ей ночную рубашку. Мигом разогревается плита голландки, а на ней чайник – вставай умываться, соня!

И вот утро разворачивается в день. В нем все чаще не я леплю, к добру или худу, а он сам меня лепит. Впрочем, дневная реальность с ее собственными ужасами и очарованием, колоколами и звонами, тоской и счастьем – сама пока еще пластична и не заостенела, не заоснела, не оплотнилась, прозрачна почти без тусклоты и состоит из воздуха, а

не из глины, как мир больших людей, и царство моей радости пока еще видно через нее и имеет над нею власть.

Постепенно, день за днем, месяц за месяцем, отходят от меня ночные мороки: я адаптируюсь, приобретаю иммунитет, осваиваюсь в приданном мне, невсамделишном этом мире – верный знак того, что близок час, когда эта невсамделишность беспрекословно овладеет мной. Уже и сама я склонна принять обманку за истинное лицо, счесть ад если не раем, то, по крайней мере, тем, что только и дано нам в опыте, а остальное чушь, как учат нас в нашей родной рутенской школе! (Вопрос в сторону: терпели бы мы так безропотно наш бытовой ад, если бы сквозь него хоть изредка не просвечивало рая?)

...А сосны и луг за ними постепенно выцветают. Одно из деревьев совсем засохло, его спилили и даже корни выкорчевали из сухой земли. И все же, и все же...

Безбрежное одиночество зимнего двора, снежные крепости и дома с ледяным катком вместо пола, которые сооружаем мы вместе с дедом; пологая горка для санок, у них спинка и мягкое сиденье, обтянутое куском диванной обивки; постаревшая новогодняя елка с полуосыпанной хвоей, но зато с игрушками из разноцветного льда – тоже дедова затея. Как бы составленные из полупрозрачных шариков купола природных ледяных линз, крышки над миниатюрными пещерами, вытяавшими в снегу от январского солнца: внутри чудится иногда бесцветное кристаллическое растение, то ли

мох, то ли цветок. (Так зрение мое, пытаюсь убежать, погружается в микромир.) А позже – весенние ручьи, ради которых я пробиваю канавки и туннели в твердом снегу, зачастую – в стене моего полуобрушенного ледяного дома; сосульки, звенящие хрустальной капелью, и под ними – чистейшие глубокие лужицы, озерца в бисерной оправе; и шалое апрельское солнце пляшет в небе. От него вытаяли стружки и опилки от осенних дров. Гора талого снега, сброшенного с крыши, возвышается, как эскимосское иглу. Посреди влажной белой равнины – квадратные плоты: летом, когда просохнет, будем новый забор на столбы поднимать. А в летней сараюшке на столе, крытом клеенкой, – кружка молока с булкой и глотком свежего воздуха – чтобы не уходить для еды в дом. Все это опять же придумал и обеспечил дед.

...Узкоглазый и смуглый, черноволосый и тихий нравом. Он чуть косолапил и сутулился, хотя в те времена еще вовсе не был стар. Все мое детство проходило под знаком деда: его постоянно ровного, негромкого голоса, его всегдашней лаконичности эмоций – ни улыбки, ни крика, ни взмаха рукой. Он сопровождал меня в школу и из школы, водил на выставки и гулянья, охранял и одевал, молча сидел рядом, вдохновляя на свершение домашних заданий; щедрая его фантазия в дни моих болезней творила удивительные игрушки из всякой бытовой чепухи. Я помню крошечные резиновые шарики из останков большого, купленного в ноябре для октябрьской демонстрации, но тотчас же бесславно и с конфуз-

ным треском погибшего, – ими играли в воздушное бильбоке; пульверизатор из жестяных трубочек, поставленных углом; книжку-мультишку с бегущим человечком, нарисованным на корешке старого отрывного календаря; «всамделишное кино» на обратной стороне бумажной ленты, опоясывавшей ранее буханку черного хлеба – его следовало поместить между абажуром горящей лампы и стеной, но не просто, а с каким-то хитрым изворотом. Можно было поклясться, что этот меланхолик и флегматик играл в свои выдумки так же увлеченно, как и я – так он ограждал ребенка и во мне, и в самом себе.

Словом, все прочие были взрослыми, а дед – он был дедом. Все были по одну сторону, мы двое по другую. Все прочие казались – он был. Бог знает, что творилось в его голове и груди при соприкосновении с любимой бабушкой: это сплошь и рядом оказывалось такой же тайной для всех, как и его истинные вкусы и пристрастия. Она, крошечная и верткая, точно капля ртути, язвительная, как шпанская мушка, встревала во все домашние дела и вскорости наладила их так, что на ней одной всё и держалось. Визгливым голоском воспитывала меня и вечно безропотного и безгласного деда. Выносила помойные ведра и домашние тяготы, встрясала душу из резиновых ковриков, тряпочных половиков и своих близких. Обирала голой влажной рукой или тряпицей размером с носовой платок ковровые дорожки – первую ласточку нашего тощего благосостояния. Изводила мужа, дочь,

зятя, внучку соседей и продукты. Исхитрялась покупать хорошее мясо по цене едва ли не требухи, экономя копейки – неимоверное и немыслимое искусство в те времена, когда все съестное было почти одинаково дешевым и одинаково скверным. За дефицитом кастрюль, и алюминиевых, и особо эмалированных, томила вчерашнюю картошку или кашу в наружном футляре от списанного прибора, который дедусь притащил из своего кабинета физики – ибо дед зарабатывал на жизнь учительством. (Этот цилиндрический сосуд, крапчато-голубоватый внутри и бугристо-коричневый снаружи, так прочно ассоциировался у меня не с точными науками, а с подгорелой пшенкой, что на лабораторных работах пятого класса я неизменно фыркала от одного слова «калориметр».)

Рядом с этой воцарившейся в доме суматошной **инь** наше семейное **ян** казалось неприметным и маловлиятельным. Деньги в дом приносил, тем не менее, он – дед. И когда он исписывал решениями и формулами бумажки, чтобы вложить их потом в учебник, и переводил с немецкого любимые бабушкой сентиментальные романы, одновременно сидя за столом и пережевывая ее стряпню, штопал носки или сидел с лупой над неисправными часами, но особенно когда вечерами просто читал свою главную книгу, – славно было при- тулиться у его жаркого и тощего бока, слушая гулкий стук его сердца, и делать вид, что он тебя совсем не замечает.

Словом, бабушка заведовала, так сказать, моей телесной пищей, дедусь – духовной. Нянька и проводник, пастух и

плотник, утешитель и воспитатель, кукольник и игрец, главный ответственный по ребенку, который учил меня грамоте, рисунку и душевному спокойствию в те минуты, когда бабушка бы уже вовсю гнала волну – какое странное амплуа для солидного мужчины на грани пенсии!

И как необычно это повлияло на девочку в отсутствие «тех подружек, которые с тобой водятся»! Ведь мой друг, может быть, самым своим бытием отбивал у меня охоту привести под крышу нашего дома товар подешевле и понезатейливей. Его супруга время от времени спохватывалась и привечала моих одноклассниц, мы с ними общались, собственно, по-доброму. Только исключения, как известно, лишь утверждают тебя в правиле.

Таков был дед и такова была бабушка. Что же до родителей, то они были люди славные, однако вечные студенты, вечные аспиранты и ассистенты с полной катушкой учебных и общественных нагрузок, а поэтому приезжали домой только переночевать, и в самом деле более всего напоминая светлые и бесплотные тени ангелов-хранителей моего сна.

Родители и старшие, учителя и одноклассники... То были атрибуты внешней жизни, которая касалась меня, глубоко не задевая, и подчиняла себе мою внешнюю сферу, не касаясь внутренней.

Оглядываясь назад, я думаю теперь, что в школе могло быть не так мало детей, подобных мне. Все дело в том, что мы из рода интровертов и аутистов и замыкаемся в себе, по-

этому нам почти невозможно открыться и для родственных душ. С самого первого из сентябрей прикосновения ко мне чужих боков и чужих рук, тощих коленок и колючих локтей, как бы сотворенных из иноматерии, резкость дискантовых и альтовых интонаций, душный запах волос и подмышек – вся резкость и контрастность тамошнего быта ввергла меня в такой шок, что мое настоящее «я» нырнуло в серединку моего естества и затаилось где-то между перикардом и диафрагмой, не появляясь на поверхности даже в неформальных ситуациях.

А уж эта форма! Эта одинаковая для всех школьная сбруя, коричневая и черная, мигом провонявшая потом и туалетной хлоркой! Служить защитой от чужаков она не могла никак в силу самого своего сродства с ними. В ней не было ничего ни от меня, ни от дома. Единственный способ выразить презрение к ней – за весь учебный год ни разу не стирать и каждый август менять на новую, не обремененную ни грязью, ни отрицательными биотоками. Впрочем, семейный совет счел такой подход рациональным: одежда этого вида была нарочито дешева, а я росла. Возможно, лишь дед понял суть моей брезгливости и расточительности, адресованных даже не к тряпке – к тому общему месту, каким я становилась в ней. Одно хорошо было в этом буром платье с черным фартуком: не только нивелирует, но и маскирует, сводит к общему знаменателю, однако, будто хиджаб или паранджа, позволяет сохранить себя внутри неприкосновенной, если

ты хочешь и умеешь. А я-то умела, и еще как! По правде, немало тому способствовали мои природные данные – плохой слух и левостороннее зрение. Недостатки не столь фатальные, но весьма удобные для того, чтобы слышать, видеть и реагировать лишь на то, на что хочется. Шоры от несанкционированных вмешательств.

Но самой лучшей маскировкой было то, что мой верхний слой, мое наружное псевдо-я обособилось и в силу этого отчасти научилось виртуозно мимикрировать и подхватило правила игры в пай-деточку, круглую отличницу, туповатую девственницу и вообще полный наивняк в школьных и житейских делишках. Популярности среди одноклассников или, как говаривал Плюшкин, однокорытников это мне не снискивало, но обеспечило относительную неприкосновенность. По натуре я, кстати, и в самом деле человек неприхотливый и благостный. Одно меня порой выдавало: благость эта, перехлестывая порой через мои пределы, изливалась в равной мере на тех, кто числился в приятелях (не друзьях – друзей не было), и на считавшихся моими недругами и насмешниками. «Это ж надо – так презирать всех людей вокруг!» – сказал однажды (уже в мои институтские годы) один из тех, кого я отчасти допустила до внутренней своей. Только и он угадал истину лишь отчасти. Не людей я презирала, а только принятую между ними многоходовую и запутанную игру в некие сложные взаимоотношения, тактику и стратегию общежитийного быта (того склони на свою сто-

рону против другого, тому польсти, того-то оттолкни во имя хороших отношений с третьим) – игру, в которую человек вовлекается не ради даже выгоды, а просто потому, что так принято у окружающих.

...О унижение – вопреки своей натуре, своей неумной жажде самореализации притворяться почти такою, как все, и в усердии своем неизбежно пережестовываться через край, не ведая меры, ибо для тебя все обыденно человеческое – за пределом! В школе ябедничать на обидчиков учительнице или бить их слабыми кулачками; послушно (и жутко труся) притворяться, что не выполнила домашнего задания, потому что так приговорили в классе; вдребезину напиться на первой же «цивильной» домашней вечеринке; до одеревенения губ целоваться с парнем, который снизошел до танца с тобой на празднике в честь окончания промежуточного старшего класса (о терпкий вкус свободы, и на всех девчонках – жесткие парчовые платья с крахмальной юбкой, и колыхание пар под «Венок Дуная» – тогдашний шлягер в честь социалистического интернационализма, и под шумок раздавленная бутылка кисло-красного). После окончания вступить в ряды вольнолюбивого студенчества, которое то ходит строем на майскую демонстрацию под буханье казенного оркестра, то стоит, пока пропускают другие колонны – под собственную песенку «Не тяните кота вы за кончик хвоста» (далее должно было следовать «за усы, что у рта» и «поперек живота», но на нас окрылились с промежуточной трибуны), то произносит

правильные речи, то попарно обжимается на антресолях, где клубится сигаретный дым и куда указывает рука статуи Ленина, воздвигнутой прямо вниз, на полу центрального вестибюля бывших Высших Женских Курсов. Во время жениховства твоего наконец-то вымоленного избранника терпеть непреходящую пошлость его слов, и рук, и пальца в твоём секретном месте, ничегошеньки не ощущая в глубинах женского естества! И к тому же доподлинно знать, что вот все это – ничуть не хуже того, что достается на долю других, что радость любви и влечения всегда сбита в дьявольский коктейль с грязью! А радости творчества... служения... домашнего очага...

...Обнаружить, что так страдает почти все человечество. Обратная сторона эскапизма и притворства – то, что личности носят все, будто на маскараде, и ты не можешь отыскать на этом карнавале связанных с тобой душевным родством и сродством. Разве только обострившейся с годами интуицией угадать тех, кто одинаково с тобой спрятан, безвыходно заключен, безнадежно утонул в самом себе – как водяной в пруду, как заключенный в камере своего постылого **ЭГО**, как труп в морге? «Железная маска замка Иф».

Но вернемся назад, к детству. Годам к десяти зыбкий и пронизываемый мир вокруг меня стал сгущаться, изменяемый – делаться жестким (издержки моей брони, что ли). Вот тут и попробуй овладеть им, как в прежнеебытность, – сидючи на доньшке самой себя и свернувшись в комочек от страха!

Тем удивительнее был эпизод из наших с бабушкой зимних походов в лес по дрова. С бабушкой – потому что просто так, даже не за цветочками или ягодой, а полюбоваться на лесную страну, – это мы с дедом ходили, позже – с мамой. Старшая в роде всегда привешивала к удовольствию солидную идеологическую нагрузку. Покупные дрова, березовые и сосновые, мы экономили, и не только из-за их денежной цены: узловатые, с корой, бревна и толстый горбыль пилила и колола мужская команда, даже я, бывало, держалась за одну из ручек пилы, чуток скашивая ее полотно на сторону, и носила дрова в поленницу. Для разделки одной чурки требовался топор, другой – тупой колун, третья не поддавалась ни на какие уговоры. Каждое полено, в свою очередь, обладало собственным характером и ярко выраженной индивидуальностью, и топить этими заготовками для Буратино казалось мне почти кощунством, а всем прочим – занятием до крайности расточительным.

Так вот, мы вдвоем с бабкой шли по стопам лесников, которые занимались плановой санитарной рубкой и чисткой (или зачисткой?). Собирали крупные щепки и сучковатую мелочь в старое ведро – пойдет на растопку, – а длинные, как полозья, сосновые хлысты тянулись за нами подрагивающим хвойным шлейфом. Сесть в зимнем лесу было некуда, все пеньки под снегом, да и бабуся не одобряла моей лени. Вот и уставала я, по сугубому малолетству, едва ли не до потери чувства и памяти.

Подходим мы уже, значит, к нашей рабоче-поселочной полуулице, туда, где овражек, которым окопан лес, полого спускался к единственно уцелевшей корабельной моей сосне: так сказать, с оборота шишкинской картины.

Только вот их снова была пара, возмужавших, статных, во всей вечнозеленой и заснеженной красе. Это ведь муж и жена, почему-то решила я, вот они и встретились. Ворота и калитку за время нашего похода заново окрасили блестящей масляной зеленью, таким же путем поновили крыльцо, навес над ним и опорные столбцы, а дым из печной трубы, которую кто-то перебрал по кирпичику, так и ввинчивался горделивым белым султаном в высокое серое небо, хоть и морозец стоял небольшой. А рядом, через низкий заборчик, высился крутой крышей соседский дом, к которому я испытывала белую зависть; с огромной верандой, увитой жилистыми плетями дикого винограда, высокой мансардой вместо прозаического чердака, голубятней в сарае и огромными клумбами по фасаду, которые даже сейчас округло вспухали из-под снега, точно невский пирог с сахарной глазурью. Из наших, как всегда, торчали сухие стебли астр, живописно перекрещиваясь, как шпаги.

– Баб-Шура, пойдем хоть занесем домой, что насобирали, – проныла я при таком зрелище умеренно слезливым тоном. – Если мало – потом еще разок сходим.

– Ты что, – вдруг сказала она. – Это совсем другой лес и поселок не наш.

– Ну да, вон и дедушка на крыльцо вышел, рукой машет.

Насчет деда было подоврано для большей убедительности, однако в самый момент моего вранья я в него чистосердечно поверила.

– Если увидела – иди туда одна. Иди-иди, коли такая храбрая!

Кем-кем, а храбрецом я никогда не бывала. Бабушка повернула назад в лес, волоча за собой нашу главную добычу, я, чуть погодив, догнала ее, путаясь ногами в своем дырявом ведре и бренча. Мы обе заторопились в обратном направлении – я с неясным чувством того, что меня в чем-то обманули и, может быть, даже обездолили.

...Дома отец, бэ-ушный лейтенант запаса, очень толково объяснил мне, что то была маскировочная деревня, знаешь, вот как в войну ставили на столичных, городских улицах щиты с нарисованными домами, чтобы обмануть фашистскую авиацию. Или вот рассказ «Снежная крепость» читала? Там целую пушечную батарею из снега вылепили. Не отличить ни сверху, ни с земли.

Ладно, так то была война и столица, а в нашем плевом и вшивом поселке какое начальство проживало и какие военные секреты прятались, чтобы столько трудов класть? Всё ведь было до сей поры настоящее, думала я и снова лезла к отцу с расспросами. В конце концов он сам отперся от своего объяснения – будто бы ни его слов, ни того поселка-двойника не было, просто мне «с устатку» примерещилось...

Насчет деда я по нечаянности оказалась права. Он умер раньше нас всех, едва перейдя порог шестидесяти и не успев ни дня пожить в городской квартире. Следом, будто отчаявшись в нас, новоиспеченных и довольных столичных жителях, сгорел дом. И ничего удивительного не было, если вдуматься, в том, что в моем лесном видении дедусь топил печь в одиночку и что забор был загодя выкрашен в мой излюбленный, мой коронный цвет. До тех самых пор, пока я не рискну пойти своим желанным путем, он так и будет топить нашу голландку, и греть воду, и соблюдать дом во время бесконечно длящейся зимы, и одевать его в вечные цвета. Где-то его жена, которую он так тихо, так тайно ото всех любил – может быть, ее нежелание прийти отлилось ей позже, как герою уэллсовской «Зеленой двери»? И где мои родители совыют свое гнездо, свой (по словам Курта Воннегута) карасс на двоих? Не знаю. Одно непреложно: когда меня позовут, он заранее будет знать и выйдет на порог – мое вечное и не ведающее измены **ян** – в надежде, что когда-нибудь вся семья соберется вместе под одной крышей.

Ну, так. Это все лирика и не более чем прелюдия, прелиминарии (не путать с ламинарией, которая водоросль) к моей истории. Сама история была двоякой: не только явной и неявной, видимой и невидимой, но и социалистически реалистичной и ненаучно фантастической. Проще говоря, я выдумывала свою Швамбранию, история которой, полная при-

меров любви, героизма и самоотверженности, двигалась параллельно с, так сказать, настоящей историей и где я была не главным лицом, а второстепенным и впоследствии вообще не персонажем, а, скорее, полем для рыцарских забав: развлечение умненьких деток. Это утешало; это было своеобразным эталоном морального поведения. Однако обе моих жизни все более и более расходились по мере того, как я взрослела. Разлад обоих моих естеств, щель, которая расползлась, как прореха на старой и гнилой ткани, овраг в мягкой и плодородной земле, пропасть, через которую никак не навести никакого моста, даже снежного. (Солирующий образ: Чертов Мост и Суворов в Альпах.)

И вот что я поимела в итоге: вместо жизни – существование, выстроенное, как захотелось, но не как я хотела. Правильное, уравновешенное, благополучное (беды самоустраняются, как только начнут мне сколько-нисколько докучать) – но стоящее в отдалении от меня самой.

Все схлынуло. Из флакона повыходились духи. Работа обрыдла, да и никогда, собственно, не была по мне кроена. Муж отдалился, бабушка и родители умерли, дочь – всего три часа на электричке, да лень ездить даже по воскресеньям.

Да, я говорила, что вывела себя как частный случай всеобщей болезни? Пожалуй, мой прогноз был не из самых тяжелых: не СПИД и не чума, а скорее холера морбус. Изредка появлялись перекрестки выбора, и хотя я постоянно ре-

шала в пользу общепринятого, от чего мой путь все более отклонялся влево, я это чувствовала, в отличие от большинства. Вот только не звучал ни ночью, ни днем тот незримый камертон, что направлял в детстве мелодию моей жизни, и арабские ноты стали обыкновенными кружками и овалами на пяти линейках.

И тогда я решилась на свой первый, крошечный, ничтожный шагок против – еще не общечеловеческой, но внутрисемейной традиции.

Я завела кота.

Хотя, собственно, это он меня завел.

Ладно, давайте по порядку, хорошо?

...Бывают дни, когда печаль струится в воздухе, беспричинный гнет лежит на мироздании в самую лучезарную погоду: вечный конец зрелого августа, плавно перетекающего в сентябрь. В такие периоды я приучила себя подолгу гулять, слоняться пешком в некоем особенном ритме, который убаюкивает тело и прочищает мысли, дает настрой и вгоняет в нечто похожее на буддийский транс, отчего кажется, что вот-вот еще немного – и нащупаешь ту утерянную ноту, с которой начинается твоя собственная песенка во вселенском хоре. Домой загоняешь себя, как в стойло (даже не в денник; это все-таки, по определению, комната в «лошадином дворце», а ты – животное похуже кобылы). Дом, понятное дело, не чета сгоревшему: многоэтажная башня в мегаполи-

се, двухкомнатная ячейка в которой стоила мне пятнадцатилетнего житья на треть зарплаты.

Что город, что башня, что квартира – плевок в лицо природе, и как все брызги этого происхождения, они выделяют-ся на ее фоне цветом нечистым и тусклым. Вообще-то дворовые бабули и компаньоны по лестничной клетке дивуются, куда меня, теперь уже неработающего человека, черти гоня-ют, поэтому я создаю внешнюю причину: продуктов купить, сходить в библиотеку, съездить в музей, который раз в неде-лю работает бесплатно, и прочее. Выдумывать причину так же нудно, как и использовать ее по прямому назначению, по-этому я жульничаю – попросту шляюсь без достаточных на то оснований.

И вот я наружи. Звенит бульварное кольцо, посвистыва-ют шины, гудит и трепещет воздух, рассекаемый полетом обтекаемых стальных тел... Оживлены лихорадочной толче-ей людских эритроцитов вены улиц; серые дома и серые лю-ди протекают сквозь тебя, почти не осаждаясь на фильтрах твоей души; открыты настежь перед лицом неба гигантские сковороды толкучек, фимиамом поднимаются ввысь арома-ты овощных и фруктовых базаров... Звуки города рокочут в упругом ритме рока, отдаваясь от камня, бетона и твоих ба-рабанных перепонок – и мало-помалу все вокруг, оставаясь прежним, всплывает пеной на самую внешнюю поверхность бытия, становится фоном, небылью, маревом, Марой – исче-зает. И так славно становится – опять думать внутри себя и

заново разворачивать горделивые флаги своей фантазии.

(...Нет, я недаром люблю высокопарные, грохочущие, извитые периоды: это рельсы, по которым так славno отъезжает крыша...)

Более конкретной и глубокой причиной тогдашнего моего выхода, будто бы за свежими булками, было любопытство. Вот уже вторые сутки в моем подъезде за трансформаторной будкой слышался тихий и настойчивый писк какого-то животного младенца. Сердобольная и котолубивая наша уборщица попыталась выгнестн юное существо наружу с помощью швабры, но оно не поддавалось на уговоры и, по всей видимости, заползло еще глубже. Но тогдашним бесхлебным утром котятчий комочек сам выпал из недр, едва стоило мне приблизиться, и развернулся прямо у моих носков. Как подгадал.

Он был дико тощ, лысоват и ободран, но – о диво! – большеглаз, хотя в столь нежном возрасте они слепы. Головка еле держалась на тонкой стариковской шейке, темный хвостик будто склеен, причем не от грязи или естественных выделений. Уборщица, приблизившись и глянув, решила, что не возьмет: дома у нее было двое взрослых кошек, и принести им такую ходячую болячку было бы неразумно.

– Ладно, тогда я его возьму, ежели вы не претендуете, – галантно сказала я, заворачивая зверя в носовой платок.

Так я приобрела всевечную заботу на свою шею. Ибо свой характер я знаю: решив нечто, я уже нипочем не захочу про-

силь пардона у судьбы.

А пока я сложила котенка на теплый пол и первым делом развела сухое молоко в кружке с горячей водой. Пока оно стыло, на узкогорлый аптечный пузырек натянула резинку от пипетки, проколотую раскаленной иглой, – те соски, что оставались еще от моей дочери, за два с половиной десятка лет почему-то даже не слиплись, но были велики и попросту разодрали бы нежный ротик моего нового дитяти. Потом прямо в тряпке я сунула кота на колени (шут с ними, со вшами, блохами и грибковой инфекцией, людей за это не отстреливают) и заткнула его соской. Он заработал сразу, с полоборота, жадно и упоенно; передние лапки высунулись из заветки, растопырились и начали месить мой живот, а голубые глаза прижмурились, как в пренатальный период, отчего в их разрезе проступило нечто восточное.

Когда он отвалился наконец, с округлившимся пузцом и блаженной мордахой, я его осмотрела. Блохаст он был невероятно: редкая шерстка подрагивала и шла волнами, как ржаное поле. Откуда их, солдатиков, поналезло на такой крошечный плацдарм? Ну, я человек бывалый: выведем дегтярным мылом, полынью-емшаном, а то и простейшим методом два притопа – три прихлопа. Еще хорошо посадить в теплую воду по ноздри и держать: враг сгруппируется на маковке, тут его и к ногтю.

– А лишай – нет его у тебя, чем хочешь поручусь. Кожа чистая, не воспаленная и не усохшая. Авитаминоз, что

ли? Вроде рановато. Подождем, а там покажу тебя надежно-му частному ветеринару. Здешние, районные, все котодра-лы, станется – усыпят еще, меня не спросясь.

Подробное визуальное рассмотрение (дых он беззаветно и доверчиво, кверху пузом) показало, что это в самом деле «он». Самец. Крошечный самёчек. И прекрасно: котят в по-доле не принесет, топить их в унитазе я как-то не приспособлена.

– Вообще-то грех не дать такому красавцу расплодиться, – говорила я задумчиво. – Масти ты, похоже, будешь редкой, истемна-коричневой. Ладно, на прокорм и лекарства для нас обоих как-нибудь наскребем. Да и не любитель я далеко вперед загадывать; делай что должен, а там будь что будет, как говорят французы.

Тут он прервал мое философствование: разнежился и написал прямо мне в колени.

– Э, так не пойдет. Придется спешно приучать тебя к песочку или бумажкам. У меня полно всяких служебных документов, вот и найдут себе надлежащее место. На унитаз тебе пока не вскарабкаться, да и потонешь, неровен час. А еще как бы тебя дверью не защемить и не приспать, капелюху эдакую, – продолжала я, обтирая его наспех сташенным платьем. – Ящик или корзину с матрасиком завести...

Однако ночью он, невзирая на собственное ложе, стабильно пребывал у меня в постели, вернее, между подушкой и стеной, где было сравнительно безопасно; позже перебрал-

ся под бок. Черепушка у него была круглая, точно яблоко, а тонкое тельце грело нежнее и лучше любого одеяла. Днем он изредка освящал своим присутствием низкий ящик с одеяльцем на дне и эмалированную коробку для холодца, на дно которой я поместила пластиковую решетку; но и то, и другое считал мещанским изобретением. Поэтому он терял волосы на всех подушках, как Юпитер, и оставлял дерзновенные следы во всех углах со вдохновением мальчишки, который отливает в материну любимую клумбу. (Я попробовала было ткнуть его носом в «большое дело», но миндалевидные, чуть раскосые глаза посмотрели на меня с такой укоризной, что решено было предоставить все естественному ходу событий.) Отважно, как юнга, лазил по стенному ковру наискосок, обживал вершины шкафов, лавировал меж цветочных горшков и книг, пробовал раскачиваться на занавесочных снастях; хотел было даже оседлать люстру, но ее аллюр пришелся ему не по нраву. Во время нашей совместной трапезы одним прыжком перелетал с пола ко мне на колени и придирчиво инспектировал мою тарелку, хотя результат был неизменным: его кормили разнообразнее и мясистей. Я окончательно перешла в вегетарианскую конфессию, вернее, он меня туда ввел – ибо котенок оказался деловой и мигом смекнул, что может безнаказанно отнимать у меня, малоимущей, все самое вкусное. От молока «Тридцать три коровы» у него прирастали дополнительные усы; отварную зубатку и навагу он явно предпочитал червивому от рождения минтаю

и вонючей скумбрии, говядину – вареной колбасе. До недавно появившегося импортного сухого корма он, правда, снисходил, но что это было ему, при его бурном возмужании, – семечки!

А рос, да и лысел он brutally, тотально и кардинально. в квартире пух летал над землею, и я ощущала себя посреди июньской тополиной аллеи. На месте выпавшей тотчас же прорастала новая взрослая шерсть, и в самом деле темно-каряя, точно каштан, прокаленный на солнце, короткая и плотная, как утрехтский бархат.

Время сосок и лужиц, резвого детства и долговязого отрочества как-то незаметно кануло в Лету, пух улегся, молочные зубы перелиняли. Хорошая еда и привольное житье сказались на нем ошеломительно, и легко было понять почему: он не был домашним ребенком и досуха выжимал каждую благоприятную для себя возможность. К полугоду он накачал тело. Его уникальной красоты шкура не прятала ни мощных скульптурных форм, ни крутых складок, что рельефно обозначились на лапах и загривке. Мускулы не выпирали, как у мужика-культуриста, но перекатывались подобно тугой воде; их работу выдавали только шелковистые отблески, что время от времени пробегали по меху, драгоценному, как хороший текинский ковер. Усы и брови его с самого начала были седые; таковыми стали и остевые волосы на кончиках стройных лап – не обыкновенные «ботиночки» и «перчатки», а тончайший светлый ореол, одевающий флером длин-

ные, гибкие пальцы и стального цвета когти, серповидные, как тайное боевое оружие ниндзя. Еще можно было сравнить этот ореол, этот нимб с кружевами брабантских манжет того гумилевского кавалера, который рвет из-за пояса то ли ствол, то ли клинок, — оружие, во всяком случае, далеко не такое грозное, как то, коим мой кот обладал по праву рождения. Глаза также были его оружием, но в иных битвах: они сделались огромными и зеленовато-синими, почти изумрудными, а их взгляд, я думаю, проникал в самое сердце прелестных дам.

Потому что ко времени наступления кошачьей половой зрелости он наловчился изящно соскальзывать вниз по нисходящей череде балконов, прошитых посередине пожарной лестницей, и под покровом темноты легко достигал низа. Я попервоначально за него страшилась, даже хотела приучить пользоваться тем путем, которым пользуются люди, когда отказывает лифт, но он брезговал тамошней вонью и грязью. Возвращался же он под мое окно и на мой балкон в целости и сохранности, даже без единой царапины, так что в конце концов я и просто волноваться перестала.

Мало-помалу, сличив абрис его складок с картинкой в импортной кошачьей энциклопедии, прочтя все, что у нас публиковалось об английских и донских голых кошках, предъявив его самого паре-тройке специалистов, я убедилась, что слепой случай подарил мне самородного сфинкса-ориентала совершенно необычного вида. Вывели его не селекционеры,

а сама природа от начала и до конца – в качестве редкой мутации, особенного и прихотливого каприза. Это был, в отличие от прочих сфинксов, прирожденный боец и рыцарь. Так он был мощен телом и духом, так независим и горд! Меня (и его, клянусь) не покидала мысль о том, что он снизошел к моей женской слабости и одиночеству, соблаговолил притутиться ко мне, минуя – или оставив – своего истинного хозяина.

Что же до его имени, клички... Рос он, конечно, не без прозвания. Но когда один мой знакомый, а конкретно – тот самый, что угадал насчет моего презренья ко всем двуногим, – на прогулке узрел его седой ус, пристальный взор и гибкое, как хлыст, накачанное тело, то опрометчиво ахнул и воскликнул:

– Ну и душман он у тебя. Ты сама-то как его называешь?

Заметим, что тогда как раз была в разгаре война с нашим великим шиитским соседом, и победа Рутении казалась под очень большим вопросом.

– Багиром я его поименовала, запомни. В честь черной пантеры Багиры, которая, исходя из последних научных данных, и вообще самец, – возмутилась я. – Понял? Повтори.

Но было поздно: приятеля услышали. Душманом, и никак иначе, кликал, клял и заклинал моего кота весь двор, весь квартал, да что там! – весь микрорайон. Когда я выводила его на прогулку в полной выкладке (шлейка и поводок золотисто-бежевого цвета, в тон шкуре), меня так и подмывало

надеть ему еще и намордник, чтобы детки меньше пугались. (Ну, дети-то как раз ничего: ах, Тать-Алексевна, какая у вас красивая киса, а ему это будто маслом по морде.) Мелкие и средние псы, даже и часть крупных, серьезных, от него шарахались: видимо, памятливы им были его одиночные прогулки под сенью мрака. Коты – а это народ если не более храбрый, чем собаки, то гораздо более самолюбивый, – провожали его угрюмым прищуром и выгнутой спиной, а он шествовал, ни до кого не снисходя, невозмутимый, как восточный **пир**, темный, как его излюбленное время суток.

Ибо самое разбойничье время наступало для него часов в двенадцать. О гроза подъездов, буря полуночных улиц! Герой неустрашимый и победоносный, галантный и любвеобильный! Его победный мjav, басовитый, с легчайшей хрипотцой и «расщеплением», как у певицы Маши Распутиной, солировал на всех мартовских и апрельских абонементах, а двумя месяцами позже изумленные кошачьи хозяйки спрашивали себя, откуда у их любимиц такие линючие детки. Я очень надеюсь, что большинство его приплода избежало поганого ведра или его современного аналога, а также знакомства с местной ветклиникой; тем более что он и самостоятельных кошек осчастливливал с обычной для него донжуанской щедростью. По крайней мере, в окрестностях моего дома развелось немало гладких, полугладких и полusherстяных котов и кошек странного вида и цвета, на удивление крепких и дошлых. Они так виртуозно убегали от живодерок, собако-

ловок и зоолюбименов, что эту Багирову поросль окрестили «кошачьей мафией» и «суковской группировкой», откуда и пошла легенда о господстве в нашем Суковском районе самой сильной в мегаполисе преступной организации.

Когда нам как следует наподдали в районе юго-восточной границы, мнение общества о нашей победоносной карманной войне повернулось на сто восемьдесят градусов, а общепростонародное слово «душман» плавно перетекло в «моджахед» (то есть ведущий священную войну наподобие нашей войны пятидесятилетней давности). Тогда и я попыталась убедить коллег по дворовому существованию, что мой кот не затевает никакой незаконной войны, напротив – мирно размножается со всей силой и страстью, на какую способен. Однако репутация Багира к тому времени вполне упрочилась, и такая мелочь, как региональная и глобальная политика государства, на нее не влияла. Душман был, душманом в глазах всех и остался.

Несмотря на то, что очаг мой обустроился Котом и это, наконец, придало ему подлинность, я еще пуще прежнего полюбила гулять сама по себе. Вещи могли быть раздрызганы по квартире, еда сведена до минимума, но я не думала ни убираться, ни готовить на себя. Бросив соблюдение и охрану квартиры на мужчину (Багир из принципа безопасности, как правило, оставался дома, когда я выходила, а искал приключений лишь тогда, когда я возвращалась в родные стены), я в который раз этим летом, что пыталось плавно перетечь в

осень, шла смотреть мои дневные сны, сны с открытыми глазами...

Удивительно. Только пока я медитирую на свой обычный манер, мое верхнее чутье неумоимо регистрирует и раскладывает по полочкам встречный род человеческий. Двигаются мужчины средних лет, слегка потертые и покореженные борьбой за существование в условиях одной зарплаты, испитые и накачанные дурью джентльмены, перегар от дыхания которых гасит любой источник света на расстоянии метра, а то и двух. Полуинтеллигентные бабы со «средним спец» образованием, которое так и написано на лицах, несут впереди себя отъевшийся живот, холеный, словно бэби, и живущий своей самостоятельной жизнью. Дамочки тягловой породы в своем наилучшем возрасте: раскормленные пальчики – в остром маникюре, круглятся загривки, плечики, широкая спина в кожанке и ниже, ниже... Стальные пожилые леди с чугунными задами в норке и каракуле (или, в данный момент, трикотажной ангоре и коттоне по сезону) отодвигают – в своем триумфальном шествии сквозь толпу – простецких старушек, приشلепнутых тягостной действительностью. Живые булжники. Брусчатка самой главной площади в стране, которая стала дыбом и пресуществилась как орудие пролетариата. Воистину, Рутения – родина если не слонов, то уж наверняка свиней!

Весь этот паноптикум обрывается вниз, в метровский переход, проходит сквозь строй казенных нищих...

(Ох, даже роль нищего здесь не умеют сыграть с надлежащим достоинством: каждый закулеман в цветное тряпье до глаз, затвердил свою мелодию, как довоенный граммофон. Настоящий попрошайка должен быть худ, язвителен, истов и артистичен...)

...низвергается на эскалаторы, которые подают нашей мини-бездне, что разверзлась под мегаполисом во всех возможных направлениях, ее законную добычу. Все мы размещаемся на скамейках перронов, диванчиках метропоездов, давление на меня ослабевает, и я с облегчением замечаю среди пассажиров нечто такое, что – по причине инородности окружающему – наверху стушевывалось. Молодое поколение.

Так, собственно, и должно было оказаться – ведь они по своей природе типичный андерграунд, подземка, поколение протеста: юность – это возмездие и так далее. Деловые юноши и мужчины, настолько отмытые, отутюженные, лощеные и стандартные внешне, что их внутренняя неповторимость легко прочитывается в зеркале поверхности. Еще более юные девочки и мальчики – тинэйджеры, они вычленились из толпы уж тем, что не садятся принципиально, дабы не уступать места. Все они, как на подбор, с гладкостройными и удлиненными конечностями орехового цвета и обряжены этим летом почти с еретическим старанием, озорством и выдумкой: широкая и длинная по колено рубаша, тощая распашонка, завязанная повыше пупка, проколотого сереб-

ряной серьгой, и куцые шортики; пестрейшая юбка, что метет пол, цепляясь за пряжки сандалий, и на верхней части – топик размером с фиговый лист, десяток полупрозрачных одеяний для верха и низа, так что один носик выглядывает наружу, обтяжные штаны с раструбами и черная распашонка с блэк джеком, а то и вовсе ноги босы, голо тело и едва прикрыта грудь, зато на шее цепочка с миниатюрным ботфортом, на пышной волосне шелковая бандана и в каждом ухе по десятку колец. Мужские кудри завиты мелким бесом, стриженные головки девиц подперты множеством масайских шейных обручей, бронзовых или бисерных, рюкзачки, брезентовые, бархатные и берестяные, украшены брелочком в виде лимонной дольки или крысиного хвоста. Продолжать можно до бесконечности... Подавляющее большинство юнцов, разумеется, манерничает, выпендривается, в хаосе форм, который стал фирменной маркой и маркировкой возраста, воплощается для них то извечное стремление к унификации, которое побуждает их родителей размножать свою серятину.

Оазис для глаз: свежоотчеканенный младенец в открытом рюкзачке на плечах стройной, словно камышинка, юной мамы. Его собратья постарше – хрупкие личинки в скорлупе переносных корзинок – на колесах или изъятых из экипажа и поставленных на дно вагона (движимое в движимом, девиз Наутилуса и капитана Немо). Вот кто пока никем не притворяется!

Но и среди слегка выросших... Именно среди таких

мелькнет в толпе, прикует взгляд одно на сотню, одно на тысячу – лицо. Спокойные и невозмутимые до дерзости, прозрачные до непроницаемой бездонности глаза, что пропускают мир через себя, ни на чем не фокусируясь; не впитывая, не пытаясь захватить из него что-то себе на потребу. Глаза эти равнодушны, но – кажется мне – лишь ради того, чтобы излучать, и сквозь духоту множества существований, что кишат рядом, я чувствую текущую от них ко мне прохладную реку. Встречаются мне глаза теплые и лучистые, как у священников или стариков. Соучастники твоего горя и в равной мере твоей радости – они подсознательно пытаются захватить твое «я», слиться с тобой в единство, не спрашивая твоего на то согласия. Их сострадание держит тебя в плену сиюминутности, его корней я не знаю – быть может, истинное милосердие, – но внешние проявления рвут мою суть на части, я вынуждена защищаться от их доброты, как от злейшего врага. Что проку мне от сострадания, которое направлено только на мою личность, – я жажду скорби по всему миру, только тогда я отрешусь от постыдной жалости к своей микроскопической судьбе!

Да, может быть, именно в почти неосознанных поисках чужаков на этой земле, тех, кто выразил собой то, чем я хотела бы быть, но не осмеливаюсь, прихожу я в это роскошное подземелье и без конца мотаюсь по кольцевой линии, этому символу нашей здешней жизни и дурной бесконечности, делая вид, что придремываю. Вокруг меня мельтешат кратко-

срочные мотыльковые жизни и страсти, пассажиры поезда входят и выходят, переговариваясь резкими, необделанными голосами. Середина летнего дня. Битком набито телесами и боками чемоданов и сумок, душно и горласто, и я сплю, ибо что еще делать здесь ловцу человеков, как не спать – по бессмертному рецепту Микеланджело?

От новой кожаной куртки рядом со мной слегка пахнет блевотиной. Куртка внакидку брошена поверх платья с желтыми на коричневом цветами размером в добрый лопух и ерзает на месте – видимо, ее хозяйке неуютно сидится. Это заставляет меня, вопреки выработавшемуся защитному рефлексу, приоткрыть глаза чуть пошире и...

Поезд стал. Он ввалился на остановке «Цветочный Бульвар» и, по всем внешним признакам, был счастливо пьян, потому что его слегка пошатывало от перил к перилам и от скамьи к скамье. На спине у него был длинномерный рюкзак, который возвышался над его башкой подобно злему року, а через плечо – драная гитара дулом книзу. Хрипучий альт, которым он пытался нечто напеть, был не без приятности, но на голос не тянул. Народ старался не замечать пришлеца: к питунам у нас издревле сердобольны, только этот человек почему-то не вписывался в рубрику.

Остановки на кольце длинные, и мне поднадоело смежать свои очи, когда электричка притормозила снова. Двери зашипели и раскрылись, сидячий народ отчасти повскакал с мест, но стоячий шустро шлепался на освобожденные седа-

лица.

– Граждане! Почтим вставанием станцию Студенческий Проспект! – возопил рюкзачный человек. Народ безмолвствовал.

На следующей остановке опять:

– Почтим вставанием Улицу Первой Революции!

– Почтим вставанием Площадь Интернационального Мира и Дружбы!

– Почтим вставанием станцию Краснопролетарскую!

– Почтим вставанием Площадь Восстания!

Тут я прикинула, что названия станций на центральном кольце словесно иллюстрируют все наши коронные, рутенско-патриотические добродетели и главные фетиши, и слегка ужаснулась тому, что он вытворяет. Но именно здесь лопухастое платье встало, окатив меня свежей волной аромата, и двинулось к выходу. Я инстинктивно придержала место; для этого кладешь ладонь на теплую вмятину в искоже, а когда тот, кого ты позвала телепатически, с некоторой долей робости пытается опуститься, убираешь. Благодарности не стоит, показываешь ты всем своим видом: пользуйтесь, пока не передумала.

Он, хитроумно изогнув свой стан, шлепнулся боком на самый край сиденья, как был, продетый в рюкзак с незастегнутыми поясными ремнями, и его гитара воткнулась грифом в замызганный линолеум.

Конечно, он тотчас же мертвецки заснул – так безогляд-

но, будто был защищен от всего дурного, подумала я. Голова, сразу потяжелев, упала мне на плечо как бомба, едва не раздробив ключицу, и мелкие косицы его темно-каштановых волос широко рассыпались по моему тощему фасаду. Числом их было поболее сотни, но ничем дурным они не пахли, хоть и сунуты были прямо мне к носу. Также не наносило от моего соседа и алкогольного духа; уж в этом я дока по причине многолетней тверезости. Видимо, он попросту умотался до последнего края. (По себе знаю: когда становится невтерпеж, я точно так же выдаю шуточки и пою басом. В роддоме по моему поводу ржала вся палата. Вот только ремешочки я бы факт подобрала и пряжки застегнула, падая в бессознательное состояние – дабы не соблазнить вора.)

Другие признаки его личности были тоже вполне благонадежны: ни куревом, ни травкой не воняло, ниспадающая на джинсы долгополая куртка спецназовского цвета и вида хотя и залоснилась, но не от нечистоты, а от того, что на своем веку видала виды. Обувка у него была нестандартная: нечто вроде литературных мокасин из цельного куска кожи, с союзкой и отворотами, которые были щедро и любовно расшиты крупным бисером. (Палец даю на откушение, что бисер был из натурального самоцвета, хотя и дешевого – мутноватого и с трещинками.) Но что меня окончательно к нему расположило – это его штаны. Они были нежно-голубенькие, с разводами тщательно вымытой грязи, махровыми лампасами и каймой на индейский манер, а на их колено присел, наподо-

бие бабочки, зеленый с прожелтью кленовый лист, при виде которого сразу вспоминался рассказ О.Генри; но листик был не нарисован, как там, а вырезан из тряпки, подкрахмален и приклеен за три точки, поэтому казался совершенно живым и трепещущим.

Голова моего пассажира время от времени уютно перекачивалась по моему хилому бюсту, поэтому я уже безоговорочно признала в нем лицо противоположного мне пола. Оно (лицо в обоих смыслах) обладало бледноватой кожей, темными соболиными бровями, длинными ресницами и общим абрисом, не лишенным дамского изящества; однако руки и ноги были большеваты для феминистки, пусть даже и современной.

Постепенно он начал отходить от ступора и вроде бы замирал, как бы вслушиваясь в вопли вагонного микрофона, объявляющего остановки, только потом мы снова продолжали всласть кататься. Однако не могло же это продолжаться до бесконечности! И вот когда мы в очередной раз приблизились к пересадке на мою линию, я рискнула осторожно потрясти его за плечо. Воспрянул он, к моему изумлению, мгновенно, как ни в чем не бывал.

– Ох, простите. Устал очень.

Глаза у него оказались тоже обаятельные: густо-карие с золотой искрой, как в авантюрине.

– Чепуха, сынок. Так давно ни один мужчина не отдыхал на моей груди, что приятно было вспомнить, – я невольно

улыбнулась.

Он отдалился – по-голливудски щедро – и выпрямился на сиденье, насколько мог, пытаясь соблюсти дистанцию. Вот тут-то до меня дошло, что хотя сынок он и верно сынок, да родила я его, должно быть, будучи еще Лолитой. Манеры, интонации, сам стиль его обычного поведения был, без сомнения, гораздо старше легкомысленных джинсиков.

– Свою остановку вы, конечно, проехали?

– Пожалуй, что и нет. Люблю в метро кататься.

Он сразу осознал двусмысленность своего заявления и снова извинился – весьма мило. Поезд опять сбавил ход, мы поднялись дуэтом, но тут его с ненормальной силой шатнуло прямо на меня, рюкзак со странным звуком, похожим на сдавленный вопль, мотнулся на плечевых лямках, и я, не думая особо, подставила под удар свое хрупкое плечико. Мы чуть не пали, однако вместе нам удалось выстоять, как гербу США, который без каких-либо дисциплинарных и пенитенциарных последствий высмеял Марк Твен (два в лоск пьяных медведя держатся за днище от пивной бочки с лозунгом: «Соединенные, мы выстоим, разъединенные (ик!) – падем»).

– Ну вот, снова. Это я сейчас просто ногу отсидел, а там в глубине нестати прячется застарелый вывих.

– Ничего, обошлось ведь. Я еще такой юный пенсионер, что не всегда об этом факте и вспоминаю.

– А-а. Но ведь вы дама и такую останетесь всевечно. Настоящему мужчине должно быть стыдно перед дамой за про-

явление слабости.

Теперь он заметно припадал на всю левую часть тела, и нам пришлось выгружаться из вагона в связке, точно заключенным, скованным одной цепью и спаянным одной целью.

– Ну, я пойду, – сказал он уже на перроне.

– Далеко вам?

– Как сказать. Если к друзьям, то порядочно, но ведь всегда можно переночевать на вокзале или еще где.

Слово «друзья» меня успокоило, «вокзал» – направило: предопределило решение и подвигло к действию.

– Зачем вам искать что-то не наверняка? – предложила я внезапно для самой себя. – Едем пока ко мне. Это семь остановок по радиальной. Не бойтесь, на вашу невинность не покушусь.

– А я и не боюсь, – он снова подарил меня улыбкой. – Имеется в виду – за себя и за вас. Потому что есть иная причина для волнений. Домашнее животное у вас водится?

– Не без того. Кот. Должна признать заранее, что характер у него весьма крутой.

Дело в том, что Багир уже факт меня заждался и сейчас точил когти, сидя в своем персональном драном кресле.

– Кот. Кавалер. А что, дело может выйти! Попробуем.

Мы к тому времени уже тряслись по метровой ветке.

– Вы не опасаетесь, что я сопру какую-нибудь вашу фамильную ценность? – вдруг спросил он.

Я покачала головой:

– Разве что Багира – это как раз мой кот и есть. Больше ничего не держу, так что брачные аферисты нам не страшны.

Вопрос и ответ были шуточные – игра. Сама не понимаю, почему я с самого начала изменила своей обычной трусохвости, причем так безоговорочно, что не поопасалась упомянуть волка из басни. Впрочем, знаю. Так бывает; редко, но бывает. Он, не имеющий пока в моих глазах ни имени, ни родо-видового определения, был, по внутреннему моему непреложному чувству, тем единственным человеком в мире, которому я могла довериться больше, чем самой себе. Куда как больше. Потому что между двумя людьми иногда возникает нечто сверх слов; проявляется то, что стоит за нашими грубыми знаками общения, то, что угадывается помимо опыта, привычки и порядка – сразу и навсегда.

Мы выгрузились на поверхность планеты. Бледный отблеск дня придал его облику нечто вампирное – рот казался удивительно алым и свежим, хотя на белой коже высветились мелкие морщинки, а к косицам примешалась некоторая седина.

– Растафари ваше давно кануло в Лету, – заметила я в полушутку. – На сей день даже и негритюд не в моде. Или вы нечто тибетское копируете?

– Нет, я этим всем не так чтобы увлекаюсь. Мой облик имеет под собой рациональное основание. Заплелся, а потом месяц или два так и ходишь, стираешь кудри прямо в косичках. Еще бороду думаю завести волнистую, как у ассирий-

ского царя, чтобы не бриться, — подхватил он. — Знаете, как на барельефах изображено.

— Вши не забредают?

— Что вы. Им во мне холодно и неприятно, я и зимой без шапки гуляю.

Тем временем мы рука об руку доковыляли почти до моего дома; я — стараясь умерить природную размашистость шага, он — беспечно озирая местность и по временам слегка кренясь на борт. И меня не покидало чувство, что я артистической кистью прописываю полотно поверх эскиза, нащупываю карандашом некий невидимый контур, оставленный не мной, пробуя его заштриховать, на ощупь идя по двойной цепочке наших следов, которые замело тонким светлым песком, запорошило сыпучим снегом того времени, когда юноша — звали его Даниил, а может быть, совсем иначе, — торопясь и задыхаясь, бежал за неведомой красавицей в легенском черном плаще с башлыком, имя ей я вымыслила такое, чтобы было созвучно с моим, но забыла, всё почти забыла, остались только белые овальные контуры более плотного свойства, которые выступают над холодной зимней зыбью, стоит подуть ветру.

Это повторялось, как всё в мире повторяется; бесконечные вариации на мотив, заезженный, однако в первоначальной своей свежести — победный. Это было несколько более серым и тусклым, чем видения моего утреннего полусна, в котором я умела летать, хотя и едва поднявшись над пыш-

ным снежным покровом улиц, и кружева нагих берез раздвигались передо мной, и плащ мой реял темным крылом, и тот, кто шел по пятам, знал наверное, что я и не оборачиваясь его вижу... Поистине, наши фантазии создают реальность более плотную, живую и яркую, чем та, что близка к нам, ибо лишь тени пещеры, идола духа, символы без плоти поднимаются в мир осознанного существования. Творения же – от творчество – дети более высоких миров.

Тут мы дошли до места. Оба лифта работали – небольшая, но удача. Я щелкнула ключом, слыша издали тропоту Багириных лап: он сорвался со своего трона или с подоконника, где смотрел свое кошачье кино, и спешил показать свою удаль.

– Сейчас он вам продемонстрирует свою ритуальную бдительность, – предупредила я. – Показ клыков, выпускание когтей, фосфорное сверкание глаз и прочее в репертуаре. Но не пугайтесь: я с вами до конца.

Однако мой воин за веру повел себя нестандартно. Мельком обмахнув усом мою туфлю, искоса, но не кровожадно глянул на мою новую находку, удостоверившись, правда, что мужик не держит меня на мушке «беретты» и не приставил конец заточки к сонной артерии. (Думаю, и киллера-профессионала ждал бы в его лице неприятный сюрприз: котя умел прыгать с места в высоту метра на полтора, чего при его длине с избытком хватало, чтобы вцепиться передними когтями в глаза, одновременно выбивая задней лапой оружие насилия

из преступной руки. А запахи стали, пороха, злого пота, алкоголя, героина и не знаю, чего там еще он диагностировал не хуже таможенной собаки.)

– Глядите-ка, за своего признал, – пробормотала я.

– Да нет, это мой рюкзак, – не вполне внятно объяснил мой спутник.

В самом деле, Багир начал обихаживать этот предмет с момента, когда его поставили на пол: совершил два круга почета и попытался вскарабкаться на самую вершину.

– Чего это он? – спросила я, почти догадавшись.

– Сейчас увидите.

Я уже видела: крышка рюкзака стояла горбом и имела впереди и по бокам продухи, затянутые черной сеткой наподобие чачвана.

– Там живое.

– Именно, – он дернул ремешки, откинул купол, запустил руки внутрь, точно в квашню, и вытащил наружу молодую кису изысканного колорита, серого с голубизной: так выглядит утреннее небо в самую что ни на есть рань, когда еще неизвестно, куда повернет день – в «бурю» или в «ясно». Ушки были крошечные и наполовину прятались в меху; золотые глаза, поставленные немного шире обыкновенного, смотрели по-детски прямо и смело. Но особенную прелесть придавал ей носик – не вздернутый, как у персов, и не скульптурный, как у моего Багира, он был точно округлая сердцевина хризантемы, и тончайшая, легкая шерсть расходилась от

него в стороны лепестками. Ни усов, ни бровей не было заметно.

(Несколько позже я поняла, что, напротив, вся мордочка кошки была покрыта вибриссами, и это делало ее наисовершеннейшим приемопередатчиком мысленных сигналов. За допущенный техницизм извиняюсь.)

Одним словом, по всему было видно, что перед нами – кошачья дама, и не просто дама, но леди. Мой знакомец предъявил ее Багиру и мне с понятной гордостью:

– Вот, знакомьтесь, это моя Анюся. По определению – картезианская голубая, но подозревают куда более древнюю кровь. У картезианцев тот же окрас, но лапы крепче, ость немного короче, а подшерсток... У Агнешки уникальный пух, такой плотный, что почти не линяет, просто падает комками, будто у овчара-южака. Ментальная чувствительность выше нормы... Мои друзья ради любопытства возились с ее генетическим кодом, если вы понимаете.

– Красавица редкая – это я понимаю. Багир тоже ее оценил.

Кошки деликатно соприкоснулись мордами, походили кольцом – нос к хвосту, хвост к носу, – что напоминало, по моему, не столько кошачий, сколько собачий ритуал знакомства, – затем разошлись и уселись на паласе калачиком друг против друга. Начался долгий обряд ухаживания.

– Ну, посиделки устроили – значит, все пошло как надо.

– Он у вашей Анюси... Агнессы, да?.. первый?

– Не знаю. Удирает она часто, хотя и ненадолго. Котят не наблюдалось ни разу, хотя друзья очень у меня их просят, даже неловко.

Я оставила кошек за их занятием, а его отправила парить больную ногу (или леденить, в зависимости от состояния) и париться самому. Торжественно вручила ему купальную простынку и мой рабочий костюм с эмблемой китайской фабрики «Дружба», ни разу не надеванный, потому что был куплен в период дефицита и здорово мне велик. А сама стала выгребать из холодильника питание.

Процесс моей готовки обыкновенно сводится к завариванию чая смоляного вида и крепости. Привозной кофе – прямой родич скобяной лавки (аромат мыла, вкус железа) и характеризуется почти полным отсутствием кофеина: наркотик почему-то преодолевает таможенный барьер отдельно от основного продукта (говорят, что его выпаривают прямо из мешков с зерном, а, возможно, подвергают алхимической трансмутации или ритуалу вуду) и оседает прямо в карман государству. В закрома родины, однако!

А вот чай волшебным образом сохраняет свое естество и не поддается ни выгонке, ни возгонке, ни иным изыскам погранично-государственного хитроумия: напиток из этой травы получается рубиновый, терпкий, пылкий – и совершенно гвоздодерный. Букет его здесь, в Рутении, не отличается изысканностью, в торжественных случаях полагается подсыпать немного жасмина или бергамота. Но сейчас я не захотела

ухищряться: пусть мой чай не кажется иным, чем он есть. Японский принцип: **ваби, саби, сибуй**. Как Осип Мандельштам говорил: «самая правдивая вода»? Вот-вот, пусть и у меня будет – самый истинный чай.

Приложения к такому напитку особой роли уже не играют. Всё проходит на ура: и гречневый продел, залитый яйцом, и горячие сырны бутерброды, и золотистая чечевица, запеченная в духовке, и творог с черничным вареньем.

Мой новый знакомец вышел из ванной, распространяя вокруг запах то ли пионов, то ли флоксов – чего-то ненавязчиво и знакомо душистого, так пахло у нас на даче, когда мы наезжали туда из города. Пока тамошний дом... Ладно, будет тебе! Мои одежды сидели на нем вполне прилично, руки-ноги и народно-китайская сущность синей униформы не выглядывали.

– Вы чем-то подушились?

– Нет, просто отмылся. Я же из странников и путешественников, у них такое нередко случается. Запах мыслей, понимаете?

Он не удивился моему вопросу, а я, по размышлении, – его ответу. Если человек начинает жить неким определенным образом (а каким живет он?) – меняется химический состав пота, отмирающих клеток и не знаю чего еще. Я подозреваю, что святые отцы-отшельники не мылись отнюдь не из презрения к плоти или античным представлениям о сангигиене, а всего-навсего – из тех соображений, какие за-

ставляют пигмея перед охотой мазаться слоновьим пометом. Чтобы человеком не пахло. Это ведь незнакомый для нас запах – человека как он есть.

– Странник, говорите. Так прямо вас и называть?

– «Странник.

Это слово станет именем моим.

Долгий дождь осенний»,

продекламировал он хокку великого Басё, а потом добавил:

– Собственно, по паспорту я Марк Цветаевский, однако не из тех аристократов Цветаевских, которые Изобразительный Музей и Галерея Изыщных Искусств. Прозвище же мое – Одиночный Турист.

– А я Татьяна Троицкая, тоже не из знати, хотя, как говорят, из колокольных дворян. Прозвища пока не заработала.

– Вот и будем знакомы, – Марк поднял мне навстречу фарфоровый бокальчик «армуды» и чокнулся со мной чаем. Я поняла, что в наших с ним отношениях ярлыки не важны, да и нынешнее знакомство наше, такое внезапное и, очевидно, мимолетное, не играет особой роли – мы и так и эдак родня.

– Ну, поторчали? – сказала я храбро.

– Лексика у вас. И арестантская, и немодная, и противоречит теперешней ситуации.

– Въелось. Кое-кто из дальней родни, знаете... Прадед там, прабабка... Я ведь и сама человек морально аморти-

зированный. Знаете, житейски сугубо невинный и одновременно желающий оное обстоятельство утаить.

– Со мной так не надо, – сказал он серьезно. – Будьте такой, как вам хочется.

Помимо чая, который я налила в восточной работы кувшин с длинным изогнутым носиком, на столе была гречневая каша из отборной ядрицы, поверху залитая яйцом. Мы накладывали ее в тарелки из могучей кастрюли, в которой я обычно варю еду Багиру. Самому коту пришлось отложить – ему я добавила отварной трески. Словосочетание «рыба с гречкой» резало мне слух еще со времен министерского общепита, где вот это самое было дежурным блюдом. Анюся казалась чересчур деликатна для такой грубой пищи, и ей я смастерила воздушный омлетик со взбитой сметаной и креветками. Она осталась удовлетворена, но со всей массой не справилась, так что остатки пошли нам с Марком. На десерт у меня был свежий витамин из черники с мягкой белой халой, зеленые южные яблоки и местный шоколад кормовых сортов – толстый, крупными дольками и почти без аромата.

Ел мой Турист очень аккуратно, но со старанием.

– А теперь мне полагается преподнести вам мое описание жизни, как в дамском романе? – спросил он, насытившись.

– Вовсе нет. Не в том смысле, что я ленива и нелюбопытна, а в том, что тогда мне по справедливости придется отплатить вам той же монетой; последнее вряд ли интересно.

– Платить не надо. А вот отчитаться перед вами мне тре-

буется.

И вот в отплату за гостеприимство я получила краткую, так сказать, журнальную, версию его жития.

(Забегая вперед, скажу, что само житие, написанное от руки в виде дневника, который фиксировал скорее мысли, чем события, осталось мне в наследство: некоторые максимализмы и апофигизмы врезались мне в память навечно и выскакивали из меня в самых неожиданных местах и ситуациях. Оно у Марка лежало непосредственно под Агнессиним матрасиком и поверх прочих вещей, а потому несколько пропахло кошкой – у меня вначале аж скулы сводило от запаха.)

– Итак, по профессии я геолог. Ну, знаете, далеко не то, что вы себе представили. «Трудись, геолог, крепись, геолог, ты ветру и солнцу брат», так, кажется?

(Ясное дело, не то. Ни геологической смуглоты, ни геологических наслоений на его коже не наблюдалось.)

– Конкурс в геологоразведочном был в те времена на два факультета: экономический и геммологии. Второе – драгоценные камни, что связано не столько с экспедициями в тайгу или пустыню, сколько с левой ювелирной работой. А первое метафорически означает, что ты идешь рядом с обычными трудягами, держась рукой за сундук из нержавеющей стали, и периодически выдаешь им зарплату. Интересного мало, эту профессию часто приобретали наши женщины, чтобы ходить в поле с мужьями. Во время бума еще был моден факультет нефти и газа, как бишь его. Много позднее, не

помните случайно? – народ увлекся компьютерным обсчетом месторождений, которые открывали другие, а также их прогнозированием. Так вот я этим грешил еще тогда, когда для всей Рутении это был неведомый зверь, а машины были величиной со шкаф. Хотя мне в одинаковой степени интересно было и ходить, и обсчитывать, и строить на этой основе дедуктивные порождающие модели.

Тут я заподозрила, что он телепатически позаимствовал из моих филологических мозгов языковую терминологию, словом – малость присочинил насчет своей деятельности.

– Но главное – я любил и понимал камень, – продолжал он. – Летом и в межсезонье был у нас полевой период, зимой – лабораторный: сиди и итожь, анализируй результаты былых походов, а набредшие на тебя камушки загоняй по дешевке, если самому не глянулись. Вы, наверное, знаете, что импортные самоцветы у нас продаются с многократной наценкой, а здешние должно сдавать государству, будто оно самолично по дорогам бродило? Смех в том, что обсидианы, гранаты, агаты, аметисты, нефрит и многое иное в самом деле можно подобрать прямо на большаке или его обочине, главное – узнать, душою провидеть, что у вон того булыжничка внутри....

– Ох, и кто это придумал, что государство – это мы? – вздохнул он. – Государство – это «Оно» Стивена Кинга; Великое Ничто, собака на сене: и само не ест, и никого не подпускает.

Я кивнула. Уж это было для меня общим местом.

– Ну вот, жил я один, такой, знаете, удачливый бывший детдомовец без вредных привычек. Поэтому деньги мои скромненько, но подкапливались – и за счет находок, и благодаря моей житейской неприхотливости. Кооператив купил в рассрочку, сам обклеил, побелил, отциклевал – руки у меня откуда надо растут – и обменял на другой с хорошим приварком. Я ведь кандидат наук, поэтому первое мое жилье имело две комнатки, спальне-гостиную и кабинет, а во втором оказалась одна, зато огромная. Кухня – как банкетное зало, вместо прихожей – целый холл. В старом доме, но такого затрапезного вида, что никакие наши «члены» не позарились. Это нынче придумали евроремонт, а в те поры... Вот ее я отделал в свободное время от души и с выдумкой. Омеблировал. Персональные компьютеры тогда стали возить из-за кордона, я тоже заказал. И решил, что ставлю точку в обустройстве быта и начну наслаждаться жизнью.

– Правда? Что-то я засомневалась.

– Имеете полное основание. Ибо не тут-то было! Раз от разу мне становилось труднее возвращаться в свитое гнездо: и мебель заважничала и перестала признавать хозяина, и тачка вечно зависает, и посуда от рук отбилась. Возможно, они не так уж были виноваты, как мне казалось, – в определенном возрасте часто наступает отрывка от вещизма и тряпкизма. Только я все чаще стал размышлять о том, что такая квартира с пропиской, как моя, – вовсе не английский **home**, а

пожизненное заключение в дешевой гостинице, мебелировке с претензией, в карточном «казенном доме». Ох уж эти многоэтажные скворешни, привязанность к которым въелась в нашу плоть и кровь!

– Многоглазые драконы, которые пожирают нас ввечеру и изbleвывают наутро... – тихонько добавила я.

– Наш великий юродивый, святой Велемир, и то провидел жильё будущего в виде некоего прозрачного куба, который человек возит за собой по городам и весям и каждый раз заново находит ему место на высотном штативе. На железных деревьях – стеклянные гнезда.

– Личная раковина.

– Великолепно, только зачем он на мегаполисах заиклился? К тому же я не такая мощная улитка, чтобы носить на себе жилой модуль, говоря по-современному... Ко всему тому и сахар стал мне не сладок, и водка – хоть и крепка, но мясо протухло (возможно, вы помните этот примерчик буквального компьютерного перевода библейской фразы о слабости плоти и крепости духа), и мир что ни утро оказывается обут не на ту ногу... Все, за что ни возьмись, причиняет душевный скрежет.

– Сначала я решил, – продолжил он, – что моему жилью не хватает народа. Стал зазывать гостей, по преимуществу – братьев-геологов. Нет, народ они, конечно, славный, однако пьющий, а в компании – сугубо. И вот общество мигом делится на крутых и всмятку, приятная и умная беседа пе-

перерождается в хаотический гвалт, а под конец вечера некто зычно блюет в твой лакированный концертный унитаз и засыпает с ним в обнимку... Словом, и это не пошло: я решил, что времяпровождаться таким образом не буду ни за какие коврижки.

– Еще, как водится, были женщины... – он как бы облизнулся внутренне, а я насторожила душевные ушки. – Нет, это чудесно – раскрывать их, как камни, правильно ставить, давать огранку и опрашивать. Но это, как любая ювелирная работа, – старание для другого. Тем паче, я, как видите, постарел и стал похож на собственную пародию.

– Сдается мне, что пародия нарисована талантливым мастером, – вставила я.

– Откуда вам знать! Итак, оставалась одна религия. Нынче многие в нее бросились, а я... на дух не выношу ничего безальтернативного и победоносного. До государственного поворота не терпел господствующего мировоззрения, а после – доминирующей конфессии с ее презумпцией своей правоты. Судит обо всем, понимаешь, со своей колокольни Ивана Великого, и все-то, что не ее собственное, – грех и измышление дьявола.

– И у меня вероисповедание скорее беспорядочное, чем порядочное... то есть, скорее неупорядоченное, чем упорядоченное, – кстати вставила я. – Жадина и вечно хочу зачерпнуть из всех религий сразу.

– Дальше было хуже. Я перестал радоваться и заветному.

Понимаете, бродяжить надо бескорыстно, а не в довесок к общественному интересу. Я пытался разнообразить меню; на досуге альпинизмом увлекся, представьте. Однако идешь, как и прежде, в общей связке, гуртом, кагалом, собором... Соборно. Днем залезли на стену, вечером вернулись на базу, на следующее утро вскарабкались чуть повыше и снова назад. И никаких тебе пейзажей! А ведь я люблю ходить по разным местам один, размышлять в ритме своих шагов, помахивая посохом – не альпенштоком, а именно посохом, таким, знаете, с загнутой и отполированной ладонями ручкой, – наподобие маятника...

– Чего вы искали, Марк, – одиночества или общения?

– Инстинктивно, я думаю, – первого. Знаете присловье, что множество людей вокруг равно твоему одиночеству? Я и пытался окунуться в безличие, в муравейник – любое мало-мальски тесное содружество, ориентированное на цель, мне в конечном счете претило... И никак я не мог пойти на риск, решиться на отход от общепринятой линии. Все больше замыкался, закукливался в своем демоническом скепсисе...

– Но, знаете, когда эдак подпирает и ты готов к полной сдаче и примирению вплоть до самоубийства – которое, вопреки расхожему мнению, вовсе не бунт, а именно капитуляция, – продолжал он с азартом, – тогда неизбежно является выход. Так, по крайней мере, говорят. И так было у меня. Идет, значит, наш геологический отряд полем, а если быть

точным, — лесом, тайгой. До одной деревни сорок километров, до другой и того более. И тут прямо на тропу перед нами выкатывается существо размером с кедровую шишку. Причем явно культурное животное и к тому же едва вышло из грудного возраста! Это я понял, когда оно ухватило меня ротиком за тесемку на ветровке и попыталось сосать. Мы не сразу признали, что за зверь такой: хвостик тоненький, тельце в пуху — ни глазок, ни ушей, ни носа. Насилу признали котика. Есть в тайге, по слухам, такие коты-скитальцы: ходят от одного населенного пункта или от одной лесной конторы или заимки к другим, побираются, а в диких местах либо мышкуют, либо не знаю как живут. Вот одна такая самочка, видно, и родила, а сама то ли померла, то ли бросила... И ведь отважный какой ребенок! Шасть прямо ко мне, зацепил коготком за брюки и вроде говорит: «Прими на руки, а то я лапки натерла и зябко мне». Взял ее — ведь точно понял, что девочка, по ее кокетничанью! — легче перышка, дрожит, и правда, а пузцо втянутое. Покормил, конечно; геолог всегда с собой, на мое счастье, имеет хотя бы пару банок с консервированными сосисками. На привале еще и молока ей развел сухого. Набила животик — и ну петь, да звонко так, точно арфа. Я тут же ее осмотрел — ни блох, ни клещей. Будто и не из Дикого Леса Дикая Тварь.

— Простите, перебыю. Ведь Багир тоже...

— Понимаю, понимаю. С первого взгляда. Недаром оба наших найденыша так спелись, точнее, «смурлыкались».

(Молчание кошек тем временем кончилось, и они, вопреки обычаям своего рода, начали издавать в унисон удивительно мелодичные звуки, похожие на перебор струн.)

– Позже мы о ней или о ком-то похожем нарочно во всех населенных местах спрашивались, для очистки совести: ведь ясно, что не мурка подзаборная, а животное благородных кровей. Никто не признал. Ну, а мне сие было на руку – какой мужчина не загордится тем, что его такая красавица выбрала!

– И какая женщина – таким котом, как мой, – вполголоса добавила я.

– Еще один аспект обнаружился во время переговоров с деревней. Косились на нее еще как! Будь она черной, а не серой, факт бы прибили или сожгли как ведьму.

– Не преувеличиваете?

– Что вы. Один мой приятель как-то привез в село, которое километрах в ста отсюда, от столицы, свою немецкую овчарку. Так сразу пристали: она, мол, волк, а еще – концлагерная тварь, и пусть он позволит ее застрелить, пока на людей не набросилась. Едва колом не пришибли вместе с хозяином... Поэтому я от моей Агнии ни на шаг. Никому не доверяю. Вместе в любой поездке.

– Так говорят, кошка дом любит.

– Вернее, хозяйина в доме. Вы же видели, где она существует – на рюкзачном чердаке. И высоко, и безопасно, и удобно. К качке она привыкла, кстати. А городская квартира для

нее то же, что и для меня: безликое место проживания. Стол для еды (я ей высокий стульчик приставляю, вроде детского), постель для сна, водопровод для чистоты. Такое можно иметь где угодно, были бы деньги, – и даже без них. Вода в реке, сено в стогу, снег, чтобы в него зарыться или соорудить эскимосское иглу, – они же бесплатные. Ох, будь на то моя воля, я бы оставил на земле две категории людей – квартиросдатчиков и квартиросъемщиков. А еще лучше – пусть каждый организует себе и совместит обе эти роли.

– Есть еще так называемая малая родина, – ответила я. – Паустовский ее поэт и Пришвин ее глашатай.

– Конечно. Только она существует не для того, чтобы жить, а для того, чтобы носить в себе. Я одно время увлекался периодом так называемого мусульманского ренессанса – расцвета, длившегося с восьмого по тринадцатый век. Там были энциклопедические умы редкостной многогранности, их и средневековыми, в нашем понимании, нельзя счесть. Та же многогранность дара, что в Европе в эпоху Возрождения, но гармоничнее и без того противопоставления физиков и лириков, которая сохраняется в нашей культуре до сих пор. Они умели играть в бисер, понимаете? Легко переходить из одной системы символов в другую, дополнять одно другим. Так вот, они объезжали, исхаживали весь тогдашний исламский – и не только исламский – мир, и практически ни один из них не помирал под родимым кровом. Странничество, по-

моему, куда более натуральное состояние для человека, чем оседлость.

– Увы. Я сама гражданка подстоличной области, и ничто иное мне не светит.

– Вот так я и стал потихоньку отделявать себе настоящую раковину. Рюкзак особого кроя; спальный мешок; круглую в сечении палатку с надувными ребрами, получилось вроде гусеницы по виду. Захотите – покажу, похвастаюсь. Куртку с пристяжными полами и теплой подкладкой и джинсы из фирменной фанеры. Кстати, они – идеальная одежда для низа: почти не снашиваются, благородно линяют, а когда все-таки слегка поредеют и залохматятся внизу – одним легким движением руки превращаются в шорты. Все ткани, фасоны и модели защищены патентами, выдерживают стирку в горной речке с кипящими голышами и прокатку меж двумя валунами на ее берегу. Только крепче и мягче становятся.

– Будто персидский ковер, – кивнула я.

– Начитались описаний или практический опыт имеете? Впрочем, что это я... Ну, а в голодуху стоит бросить штанцы в котел – и из остатков бывших трапез выйдет отличнейший сиротский бульон.

– Я тут вспоминаю сказочку о бедной вдове, которая пыталась накормить деток похлебкой из камней, и о нищем старике. Пари держу, камни – эвфемизм стариковых одежек, ведь по его слову бульон вышел так же наварист, как великорутенский супчик из топора.

– Ладно, если оставить острословие в сторону, то использовал я всю эту радость и совершенство вначале во время отпуска. Но постепенно, мало-помалу... а когда появилась рядом моя кошачья муза, то очень быстро... Я полностью завязал с работой и заделался тем, что в нашем кругу именуют **одиночным туристом**.

– Вот теперь я окончательно поняла. Таким, который из принципа не ходит в связке или в шеренге?

– Да, вот именно. Анюся меня подвигла, придала мне решимости – и в то же время пришлась новоявленному страннику весьма кстати. Мы ведь всегда хотим иметь рядом с собой живую частицу родного дома. Ну, не деревяшку же! Мышку, крысенка, хомячка там – портативно, однако скучновато и неэкономно: грызут все что на зуб попадет, чертеньята, а иначе зубки у них прорастают через рот. Собаку вроде бы самое милое дело: любит и жожака, и дорогу, и не бросит никогда, разве что за самочкой ухлестнет без памяти, если пес. Сторож, защитник и веселый товарищ. Одно не так чтобы очень: это свой брат-бездомник, кочевое животное. От него домом и не пахнет. Зато кот, особенно котенок, – этого хоть за пазухой носи, хоть в заплечной суме, а будет обволакивать тебя, как аурой, духом покоя, уюта, чистейшей гармонии. Поет, как чайник на плите, трется усом, навеивает мир и сон. Одно трудно: в еде разборчив.

– Уж знаю. Но они вроде мышкуют или...

– До того мы стараемся их не доводить. С них довольно

быть охраной и угрозой для двуногих.

Снова это «мы»; будто эти самые странники – некое тайное общество или братство. Почему бы это?

Марк догадался о моих мыслях и перевел беседу на Багира:

– Вот, я вижу, ваш собственный кот как раз такой. Сказывается древняя кровь. Первые в мире одомашненные коты, животные пустынь, были воинственны. Сейчас начинается возрождение, пересотворение породы. О селекционных сфинксах и даже о тех мутантах, которых привечают клубные селекционеры, я не говорю – у них таки скелет хрупкий, конституция слишком нежна для живого воплощения богини Баст.

– Вы, я вижу, имеете в жизни запросы. Как только денег вам, такому безработному, хватает.

– Да никак. Патенты приносят весьма хилую денежку, хотя последнее время доход стал постоянным. Еще по пути зарабатываю.

– Сдачей бутылок, – предположила я с ехидством.

– Пробовал. Нерационально, – ответил Марк со всей серьезностью. – Носить тяжело, сдавать хлопотно. Нет, я продавал свои руки, как цыган. Жил в основном за счет женщин.

– Звучит обнадеживающе, – фыркнула я, вспомнив прошлые его откровения.

– И за счет мужчин в равной мере, – продолжил он невозмутимо. – Сейчас они все как один неумехи; а я и слесарь,

и столяр, и электрик, и даже электронщик, как помните. Нанимался и на сезонную работу – на уборку хмеля, черной смородины, работу в теплицах. Рыл колодцы. Это все, кстати, куда больше твердого оклада, но приходится сидеть на одном месте несколько дней, иногда неделю или две, а это не в моих правилах. Понимаете... – он замялся. – Меня почему-то не хотят воспринять как простого наемника. Женщины легко присваивают то, что им не принадлежит, и становятся рабынями своего хотения.

– Ох, вы меня пугаете.

– Неужели правда?

– Нет, конечно: то был риторический возглас. Я, к счастью, в том возрасте, когда ямочки на щеках бескомпромиссно превращаются в морщинки, а иллюзии – в их отсутствие.

– Разве то, что внутри вас, состарилось?

– А вы не охотник за душами, часом? – ответила я вопросом на вопрос.

– Да. Но я их не забираю, а только открываю, как бутон цветка, – ответил Марк. – Помните? Ставлю, как драгоценный камень.

В воздухе повисла долгая пауза. Мы оба дружно ее держали, пока не надорвались.

– Для такой жизни, как ваша, – наконец придумала я, что сказать, – нужны деньги, куда большие, чем могут дать нынешняя разруха в мозгах и засор в государственном общественном заведении. (На строй моего мышления повлияло,

к слову, не столько общество Марка, сколько недавно прочитанное «Собачье сердце».)

– Почему вы именно об этом подумали? Сами из небогатых?

– Э, у женщины ровно столько денег, на сколько она сама себя чувствует. Обыкновенно – карманная чахотка градус гравис, но сегодня, кажется, я могу купить целый мир.

– Ну вот, теперь я буду жалеть, что вас объел.

– Бросьте, не все так трагично. Когда мне нужны медные, деревянные или даже зелененькие баксы, они чудесным образом тут же являются на зов. Приятели редактирование подбросят или компьютерный набор, какую-нибудь антикварную штуквинку удачно продам или что еще.

– А то если у меня не хотите одалживаться (он верно понял, оттого я и хорохорилась), и мои друзья могут сотворить этот чудесный образ. Коли вы мой друг, то и их тоже.

Марк помедлил и продолжал с меньшей самоуверенностью:

– Это вовсе не попытка рассчитаться или – как его? – отмазаться. Скорее посвящение в орден, хотя и это неточно: у нас его нет. Никакого устава, сложной организации и того подобного, просто даются знаки. Ваш Багир куда отчетливее повторяет архаический тип Друга, чем, скажем, моя Агния-Агнесса-Инесса, ну, она вообще уникальное произведение природной фантазии... Вы, кстати, раньше не задумывались, почему это он вас выбрал?

– Выбрал? Пожалуй. Но для чего? Для вашего ордена Странствующих и Путешествующих?

– Мой собеседник усмехнулся.

– Прекрасное имя, хотя пахнет традиционным молитвословием. Мы обзываем себя всяко и замысловато: Бродяги Земли, Космополиты Мирового Здания... Звездные Скитальцы... Надо было бы на общее голосование поставить, хотя вряд ли удастся всех собрать, пока никак не получалось. Мы, кстати, почти не знаем друг друга в лицо – интуицией, чутьем угадываем.

– Хм. И что говорит ваше чутье обо мне?

Он пристально посмотрел мне в глаза и внезапно сказал вместо ответа:

– Можно, я вас поцелую?

– Милый, да мне ж всюю шестой десяток прет! – попыталась я отшутиться как могла грубовато. Но он уже накрепко запечатал мне рот.

– В каком-то смысле вы еще подросток, целоваться и то не умеете, только губами толкаетесь, – резюмировал Марк, когда мы отдышались. – И вы не из наших – пока еще нет. Я в этом уверен на все сто. Удивительно... Такой сановитый кот зря не приходит. Возможно, вы гораздо больше, чем кажется, но в потенции. Не напрасно же нас друг к другу притянуло и не просто по любви.

– Какое там любовь! Разница в годах...

– Не повторяйте этой чепухи.

Но ведь и верно: все наши обоюдные прорисовки по невидимому выпуклому контуру были слишком ученическими, робкими, рабскими и без требуемого здесь вдохновенного накала. Точно любовь и сама жизнь скрывались от нас за толстенной завесой.

С тем мы и разошлись по кроватям. На ночь я постелила Марку в комнате дочери, на ее узком складном диванчике. Туда перекочевал и мой настенный коврик, чуть повыгоревший, слегка траченный молью, однако счастливо избежавший огня. Он в разное время бывал любимейшим утренним зрелищем нас обеих, а сейчас я увидела его свежим, как будто промытым взглядом: фон буро-красный с черным, в сердцеvine – вытянутый белый шестигранник с каймой из стилизованных то ли ветвей, то ли лоз: там двойная обоюдоострая арка, соединенная тонкими колоннами, опрокинулась на бок и оплетена растительностью, а вокруг – справа и слева – брошены арабески, цветы и листья.

Утром, хватившись Багира, я застала Марка сидящим на полу перед диванчиком в одной майке и трусах. Подняв глаза долу, он задумчиво и глубокомысленно лицезрел ковер, и по бокам его обе кошки с той же серьезностью изучали переплетения нитей и оттенков.

– Вот это, – вдруг сказал он вместо «доброго утра».

– Что – это?

– Откуда он у вас? Ковер.

– А. Дедушка с бабушкой привезли из Старой Бухары. На-

шу семью туда тоже заносило. Говорили, что текинский.

– Нет, это не теке и не эрсари, хотя ворс именно такой, как надо: плотен, точно шкура барса, переливчат и шелковист, будто струя воды. Ну, Бухара-аш-Шариф – город древний и торговый, в нем чего только не оседало... Вы не пробовали его под ноги стелить?

– Боялась. Вещь дорогая.

– Значит, тем более ничего бы ей не сделалось, и вы сие лучше меня понимали. А опасались – не того ли, что коврик этот – горизонтального, так сказать, типа? Молитвенный?

– Что вы, они же асимметричные.

– Этот – двойной. Там посередине невидимое смертным зеркало, оно-то вам и мешало обойтись с реликвией профанно. О, эта вытянутая ячейка сот! Пустота сомкнутых сводов – пространство для Света, для божества, как в катафатическом богословии, а вокруг стоят райские кущи. Нет, правда, вы никогда не пробовали на него садиться?

– Разве с краешку или вообще мысленно. Воображала, что это ковер-самолет.

– Не исключено, что вы были правы. Молитвенные коврики и сказки Тысяча и Одной Ночи исходят из одного и того же астрального центра Вселенной.

Он решительно поднялся, содрал коврик со стенки и положил на пол.

– Вот, сядьте туда, ближе к левому углу и лицом к противоположной арке. Скрестите ноги и закройте глаза.

– Командуете тут, – буркнула я для порядка, однако послушалась. Бывают моменты, когда ты твердо знаешь, что надо повиноваться без вопросов, и это был один из них.

– Не так. Вы пересекли осевую линию. Зеркала вы этим не нарушите, оно ведь в другой реальности, но сами окажетесь неизвестно где. Подвиньтесь еще назад и выпрямитесь. Это, конечно, не традиционно женская молитвенная поза, но вы все равно никаких не знаете. Так; вот теперь вы вся уместились в отражении, как бы в тени истинного мира, которую он отбрасывает через зеркало сюда, к нам. Ясно?

– Ни чуточки.

– Тем лучше. Магия зеркал такая старинная, что ее смысл все равно забылся и спутался. В общем, впереди у вас истина, позади – ложь и мара. Сзади – мир стасиса и рутины, спереди – целая эпоха странствий.

– Не вижу разницы.

– Зато я вижу. Я ведь отчасти из той, дальней Вселенной. Мне стоило бы сесть вместо вас, но наоборот. Только не сейчас.

– И что я буду с этого иметь?

– Я же сказал. Путешествие.

– Только без наркотических терминов, прошу вас.

– Но вы же их употребляете – и в прозе, и в стихах. (Черт! Откуда он узнал про стихи?) Они подходят, точнее, могут быть приспособлены для описания сути дела. Обычный наркотик не ведет туда, куда требуется – исключение разве что

для традиционных культов, где его точная дозировка освящена традицией. Друиды и дриады ели мухомор...

– А Дон Хуан советовал самому выращивать и приучать к себе ядовитый кактусик, – съязвила я. – Зачем вы чудите, скажите мне?

– Но вы же видите, что у нас обоих здесь ничего не получится. Мы из разных половинок бытия. Секс-то, положим, выйдет – но карикатурой.

– Ох, вот оставлю это дело и удеру.

– Поздно. Вы «в этом деле» в полном смысле слова сидите.

– Что же теперь? – спросила я кротно.

– Смотрите в пустое пространство и верхним взглядом – на цветы. Там, куда вы пойдете... да! Вот это лишь сейчас пришло мне в голову. Там цель ваша – найти части, обломки круга, числом двенадцать, и соединить. Связать разорванную некогда цепь, чтобы она могла пропустить по себе живой ток. Искать приметы и знаки пути – нечто любимое, памятное, узнаваемое, может быть, не пятью чувствами, а всей глубиной души. Искать... искать Истинно Живущих. И тогда я сам собой окажусь там, где мы сможем стать вровень.

Во время этой речи Багир все стоял, думал – и тут плюхнулся мне под бок.

– А вот тебе этого делать не стоит, приятель. Раздвоишься, а тебе надо к моему старому другу в полной силе возвратиться, – заметил Марк. – Хотя в каком-то смысле вы с хо-

зайкой оба останетесь здесь.

С этими словами он стащил кота со священной территории и с невесть откуда взявшимся нахальством шлепнул по основанию хвоста.

Его фразы звучали все глуше, обыкновенность отдалялась от меня более и более. Я вперилась в пространство, инстинктивно покачиваясь взад-вперед, как тогда, когда я в детстве царила над весенним миром, видимым с моей вышки – верхней площадки чердачной лестницы. Подобия цветов, которые пришли как раз на то место, где находился мой внутренний экран, мой мозговой театр теней, – и набухли, уплотнились, поднялись навстречу и бросились мне в лицо. Некая пленка – зеркальная? временная? – растянулась и лопнула со звоном.

– Ну, с Богом! – крикнул Марк вдогонку. – И **nil admirare!** Не удивляйтесь ничему, я имею в виду!

Не упомянутый мною в воспоминаниях о себе взрослой поворот бытия. После смерти деда, в замужестве я, беременная на последней неделе (хотя все думали, что переживаю), с матерью и бабушкой нестрашно заблудились в осеннем лесу. Моросил мелкий, нудный дождишко. Драповое пальто бордово-бурдового цвета на мне было нестигаемым, как старый большевик, и грубым, точно броня, а тут еще промокло сверху и отяжелело; а поскольку влага не умела до конца в него впитаться, то и текла по ногам прямо в рези-

новые сапожки. Я смутно помнила, чем это все должно по порядку кончиться: мы, усталые и без добычи, вернемся назад, к отцу, в привычное тепло домашнего очага, к печному зеву, где отгорело пламя и громоздятся, осыпаются легкие, переливчатые исчерна-алые угли, дьявольский бархат – а по нему порхают синие бабочки угара.

И тут перед нами явился знакомый нам темный пруд в виде замечательно ровного квадрата. Это означало, что вперед идти запрещается: на том берегу стояли таблички «Секретный объект», кое-где даже проволока не была снята. Среди местных жителей ходила молва, что на той стороне и ягода слаще, и гриб увесистей, а червя с комаром вовсе нету; только вот захваченных в плен женщин заставляют отдирать полы в казарме. «Мытье полов» звучало эвфемистически. Всем было и без комментариев понятно, каким боком могли выйти дары природы.

Мы трое брели ближайшей стороной водоема, пытаясь сообразить, в какую сторону от него отвернуть – влево, вправо или назад. Ныла спина, трава оплетала обувь, скользил и пружинил мох, и я еле волокла ноги: однако почему-то двигалась впереди остальных женщин.

– Татьяна, ты только на землю не садись, – откуда-то издали кричала бабушка.

– Я на пенек.

– Они тоже мокрые, не надо, – говорила мама. – До дому потерпи.

— Ладно, терплю, — мною овладевал тупой покой, их голоса будто вязли в вате. — Надо скорее уходить отсюда, место это нехорошее.

— Погоди, вот сейчас обойдем стороной. Вот беда-то: мы краем в самую зону угодили, только бы теперь вглубь не зайти.

Какая такая зона, хотела я спросить, ведь границы мы не пересекали? Или у меня в голове все перевернулось?

— Только не садись, ради Бога. Иди вперед, — доносилось все тише, но отчетливей. — Иди своим путем и не смущайся чужими словами.

Легко, бездумно, как в раннем детстве, я повернулась спиной к затхлой прямоугольной воде и пошла прочь, убыстряя шаг.

Глава II. Лесная

*Из дома чуть свет я уйду за высокой звездой,
Уйду от сует, что меня окружают ордой,
Оставив одежду в руках материнских, уйду я,
Чтоб, как Иисусу, омыться святою водой.*

Абу Али ибн Сина

*Животные не спят. Они во тьме ночной
Стоят над миром каменной стеной.*

Н. Заболоцкий

...Я попадаю в обрыв пленки, как бывает в сельском кино между частями старого фильма: чернота, крестики, пятна, надписи на неизвестном языке, чад и потрескивание. Яркая полоса моего существования сменилась глухим провалом, пустотой в чувствах и памяти. Какое-то время спустя, когда цвета и формы возвращаются, я только и вижу, что высокое, бледное небо посреди колодца или венца сосновых крон, еловых вершин: совсем как в моем «детском» лесу, где на легкой песчаной почве уживались оба хвойных вида, – а стоит чуть повернуть голову набок – волосы длинной, изжелта-зеленой осоки, которые распадаются на прямой пробор.

Судороги проходят волной по моему распухшему телу, от низа живота до самого сердца. Только почти нет ни страха, ни боли – одно чувство предрешенного, предначертанного...

Мой ребенок, моя безымянная дочь идет из меня в этот Новый Свет, и великое множество крупных, горячих, шерстистых тел обступает меня, стискивает со всех сторон, чтобы вобрать в себя мой страх, мою муку, мою растерянность, мое удивление.

Ручки с темными кукольными пальчиками гладят кожу, ласкают лицо, и то, что чуждо этому миру, тень моей души и тень в моей душе, стекает с меня напрочь. Сбывается заклятие моего друга: принимай это как должное, не думай, почему твоя плоть помнит, как это – родить, если она не рожала ни разу. Не страшись и не печалься, оно выйдет само, мы сами (включаются другие мысленные голоса) сделаем для тебя то, что необходимо...

Уже в одиночестве я опомнилась. Тут была неглубокая впадина от корней упавшего дерева, и привядшая трава свешивалась внутрь. Мое любимое потайное место (мои предки были норными животными) в самой глубине леса, посреди ягодной поляны, где я пряталась от неугомонной и неустанной бабушки, подстилая вниз то желтенькое с белой каемкой одеяло, на котором разыгрывались кукольные утренники. Только земляника, я думаю, давно отошла, и брусника тоже – конец лета. Нет, сказала нечто во мне, – не конец, начало. Начало Времени Дождя. С утра легчайшая морось висит над ветвями, меж стволов, не касаясь уставшей травы. И это не твое детское одеяльце под тобой, а толстый и мягкий войлок, затянутый чем-то вроде плотного шелковисто-

го луба. Они, пожалуй, не прядут и не ткут, как лилии полевые... Кто – «они»? Я не успеваю это обдумать, потому что прежние темные ручки ласково придавливают меня за плечи к моему ложу и тотчас же подкладывают под бок мое дитя, бережно запеленутое в ту же гибкую тапу или лава-лаву нежно-орехового тона. Дочка спит, и от звука и ритма ее дыхания я снова и еще глубже погружаюсь в своеобразный душевный наркоз. В сон духа.

Пусто твое лоно, говорит мне сон, но наполняются молоком твои груди; дитя твое крепко уснуло, не нужно будить его, не надо тревожить его тепло... не надо...

Как от толчка, я резко приподнимаю голову, потом сажусь. Боль прошла, и исчезло томление. Вокруг, свернувшись в комок, спят посреди поляны, между пней, в глубокой, кустистой траве те, кто согревал меня своим мохнатым телом. Как назвать их, собаки это или волки, не знаю, потому что они вовсе не такие, как привычные нам члены этого зоологического семейства. Даже не крупней иных – просто значительнее. На ветвях, простертых над поляной, притулились мои родовспомогатели и няньки. Это... Да. Это обезьяны, размером с шимпанзе или гиббона.

– **Кхондху**, – говорит одна из них нараспев, тыча пальцем в ближнего Волкопса. – **Мункэ-ни**.

Палец упирается в тощую, почти безволосую грудь с угольно-черными бугорками сосков, и юная самка улыбается мне.

Запись первая

Большая посылка. *Человек – животное, которое задает вопросы.*

Малая посылка. *Странник – род человека, который специализируется в отыскании ответов на вопросы.*

Вопрос. *Так что же такое Странник?*

Умозаключение. *Странник – такое животное, которое, задавая вопросы, способно набрести на верный ответ.*

Они могут говорить! Боже мой – они разумны, причем разумны не «вообще», ибо что мы знаем об уме простых животных; но на понятный мне манер, когда интуитивные и внутренние образы облекаются звуками и словами. Боже, повторяю я, мне известны повадки животного, называемого человеком, и привычки тех, кого именуют его меньшими братьями или соседями по планете, но выручит ли меня это знание, спасет ли меня мое ведение – или видение – здесь, на границе двух эонов, где почти изжитое детство мое встречается с непознанным? На грани двух миров Живущих, как говорил Одиночный Турист?

Кхонды. Они начинают просыпаться этим ранним утром, утром моего нового времени, и тотчас я понимаю, что все они не спят, а дремлют вполуха и вполглаза, и не дремлют даже, а терпеливо ждут, пока очнусь я. Один из них поднима-

ется и движется ко мне – седой подшерсток, белая проточина во лбу и глаза зеленого золота, скорбные и пристальные. Его женщина, почти такая же старая и властная, как он, незадолго до меня померла своими первыми родами, откуда-то знаю я: сказали мне об этом то ли прикосновения тел и рук, то ли запахи. Не стоит искать глазами свежий холмик, догадываюсь я, здесь не принято отмечать могилы, пусть земля поскорей затянет свою рану особенной гущиной трав, яркостью цветов...

Старик вызывает меня в круг, в **порядок**, своим взглядом, и я иду – вместе с моей дочерью. Широко улеглись самцы, воины, мужи; внутри – самки, многие с крошечными детенышами, зачатыми в конце сезона холодной воды и рожденными совсем недавно. А в самом центре, на такой же подстилке, какую только что оставила я, – напоказ всему народу копошатся черненькие тупорылые щенки, еще слепые: те, кто остался без матери. Ползают друг по другу, тоненько дрожа от холода, а старик отец стал над ними в позе выживания.

Вот из кормящих матерей первая отважилась: встает, подходит ко гнезду и берет одного из сирот зубами за толстую складку на загривке. Несет к своему выводку и кладет в середину. Потом идет другая недавняя родильница, третья – неспешно, как бы в ритме замедленной съемки соблюдая ритуал. Кое-кто из них, не дожидаясь конца церемонии, сразу подпихивает приемыша к сосцам: слышны жадное чмокание,

деловитая возня.

Наконец, разобрали всех, кроме крайнего. Судя по бойким ухваткам, это мальчишка, но самый что ни на есть заморыш, поскребышек, последний в помете. Таких нередко отбивают от сосков те, кто постарше и поплотнее; только, мне кажется, этот бы не позволил. Ему даже не осталось о кого погреться, он еле слышно повизгивает, ворчит, жалуется, пытаюсь встать на нетвердые лапки и растопыривая пальцы со светлыми коготками, однако всем видом выражает стойкую решимость.

Внезапно решаюсь и я. Подхожу, нагибаюсь над рогожей и принимаю звериного детеныша на сгиб той руки, которая не занята человеческим.

И вот, стоило мне только усесться на свое прежнее место вне круга, расстегнуть платье и приложить ее к левой, его – к правой груди, как оттуда изошло обильное молоко, щеко-чущей теплой струйкой, – прямо в жаждущие ротики, оба – вот диво! – оснащенные мелкими зубками.

Как только они, насытаясь и подарив мне первую в этом существовании материнскую радость, отпали от сосцов, я наклонилась и брызнула остатком молозива на траву. «О земля Леса, пресветлая и преизобильная, – сказала я про себя, – породнись со мною и будь мне молочной сестрой, как стали молочными братом и сестрой эти детеныши».

Кто, хотела бы я знать, подсказал мне этот обряд и эту мольбу?

Ибо именно так следовало завершить вхождение юной родильницы и ее дитяти в союз трех лесных племен, или **Три-аду**.

С той поры я не видела ничего, помимо забот о кормлении, и участь моя, как и образ жизни всех здешних матерей, была куда легче памятной мне рутенской.

Легче во всем – кроме непрерывного усвоения иного лада, сопереживания иной жизни. Я нисколько не удивлялась странности того и другой: это чувство у меня сразу же отшибло напрочь, то ли по слову Туриста, то ли благодаря счастливому свойству моей психики, которая – надо отметить, если это еще осталось непонятным читателю, – куда труднее переносит скуку, чем новизну, пускай даже шокирующую...

По окончании общего совета все разошлись по жилищам. Тогда я еще не полностью оценила своеобразие светлого шатра, хижины из тонких деревянных планок, сходящихся кверху притупленным острием, и похожей на улей внутри и снаружи. Меня сразу притянул к себе и покорила очаг на земляном полу, под отверстием в своде. Он уже прогорел, и на него надели металлический колпак, изукрашенный наподобие монгольской бронзы. Игривое пламя отсвечивало в его щелях и разбрасывало вокруг алые и коралловые отблески, будто показывало нам троим сказочное кино. Нас поместили на полу, на войлоках, укрыли мягким – но тут я заснула,

мгновенно, без тяжких раздумий. И снились мне самые красивые из моих детских снов.

Утром обезьяны, самки **мунков**, принесли теплую воду в широкой бронзовой миске и еду в глиняных плошках и чашах с незатейливым рисунком – то ли фрукты, то ли сладковатые овощи, нечто вроде сои с едва заметным запахом дыма, и густое молоко. Они были прехорошенькие, иначе не скажешь, – темноликие, с немного вздернутым носиком и в меру пухлыми губками, и вплоть до кистей рук и ступней ног их одевал золотисто-каштановый, серебристо-серый или атласисто черный мех. Их собственные дети были с ними, за спиной, цеплялись за длинную гриву: ради их забавы или просто для красоты длинные прядки и косицы матерей были унизаны яркими бусинами, короткие же подымались надо лбом, как сияющий ореол.

Днями я либо тоже спала вволю – как я теперь понимаю, это избавляло меня от шокового, лоб в лоб, столкновения с необыкновенностью – либо кормила, либо, оставив детей на одну из обезьяньих нянюшек, расхаживала по деревне, состоящей из дюжины-другой точно таких же, как и моя, хижин, живописно поставленных вразброс. Это были обиталища волкопсов, или **кхондов**, которые дружелюбно на меня посматривали, но, в отличие от мунков, на прямой контакт не шли. Мунки же наперебой зазывали меня в свои дома, по виду огромные гнезда на толстых нижних ветвях, – только я отнекивалась как могла вежливей, помимо прочего, не бу-

дучи уверена в своей ловкости.

Что есть и третье здешнее племя, я обнаружила не сразу, а дня через два – оно пребывало на периметре «большого круга», то есть теперешнего компактного поселения триады. Это были кабаны, **сукки**; очень крупные телом самцы с клыками, что торчали вперед и вверх, загибаясь подобно рогу, и хрупкие самочки. Они, по всей видимости, несли внешний дозор так же, как мунки заботились о внутреннем благочинии. Впрочем, тогда я не особо вникала в нюансы здешнего быта, да от меня этого и не требовали. Просто без малейшей задней мысли наслаждалась своим двойным материнством, здоровой едой, уютом и непринужденностью отношений и особенно тем, что после сухого сезона, здешней перезрелой летней осени, вдруг настала самая настоящая многоводная и многоцветная весна с высоким, почти бессолнечным небом жемчужного цвета, а понизу зелено-золотая, в метях белых, лиловых, пурпурных и синих цветов, которые вырастали сквозь поседевшую траву, пригибая ее к земле, что дышала теплой сыростью.

Цветы и бабочки были здесь небывало для меня огромными, будто в тропиках, мелкое зверье – куда более похожее на привычных мне белок, ежеиков, ящериц, – совершенно, до наглости, бесстрашным: лезло к теплу и объедкам, потаскивало мелкую утварь, ластилось к рукам. «Живущие» Триады, Высокие Живущие (разумеется, я пользуюсь терминологией, которую усвоила и перевела на свой язык позже) были

стойкими и последовательными вегетарианцами.

Именно Живущие – не люди, конечно, однако же и не звери. Пока они были для меня все на одно лицо, как африканцы для белого человека: я ведь и чувствовала себя почти как в экваториальной Африке – из-за хижин, обезьян и влажной жары. Только постепенно я начинала различать. Кхонды были, как один, серо-черной масти с разными отметинами, но из-под общих для всего их народа черт, как из-под толстой упругой пленки, проступали следы, казалось мне, наиболее стойких собачьих пород, тех, что вроде бы и не выведены человеком, а возникли по Верховному Наущению. Кое-кто был по-эрделиному курчав, иной – долговяз и тонок, как гончая-дратхаар. Крепкая грудная клетка, короткая шерсть с желтоватыми подпалинами подмышкой и слегка чемоданное телосложение выдавали потомка ротвейлеров. Но более всего они были сходны с овчаркой – не рутенской, скорее немецкой; особенно кхондки, которые были несколько мельче и грациознее своих мужчин. Как и их нецивилизованные то ли предки, то ли прототипы, кхонды обычно дремали днем, однако и ночью не охотились: ведь охоты – в рутенском понимании – здесь не ведали.

Мунки, спускаясь со своих деревьев, держались удивительно прямо, будто с детства носили на голове кувшин, и непринужденно балансировали при ходьбе всем корпусом, слегка размахивая длинными руками, а иногда и хвостом; исполняли нескончаемый танец, который переплетался с ре-

чью или песней, такой же бесконечной. Как говорится, «что вижу, о том пою».

Сукки были единственным из племен, на которое я поначалу глядела с опаской – не с полусознанным благоговением, как на кхондов, но кожей чувствуя грубую, прямолинейную их силу. Ростом с жеребенка-стригуна, самцы несли на спине мощный горб, поросший бурым волосом; клыки их были желты, как старый янтарь, глазки пронизывали тебя насквозь, как бурав, а рык давил на ушные перепонки подобно молоту. Они не шествовали, как кхонды, не плясали по траве, как мунки – нет, двигались прямо и стремительно, как торпеда под слоем темной воды. Их женщины и дети были не суетливы, тихи и почти грациозны; жировых наслоений, нездоровой округлости домашних баловней не было и в помине. Крупных клыков тоже. Детишки вообще были само очарование. Масть их была куда разнообразнее, чем у взрослых особей: смугловато-белая, рыжая, каряя, вороная, цвета желудя, ореха, пшеницы – и продольные «детские» полосы вдоль хребта, как у бурундучка. Они роились около поселения и, наверное, просто кишели у границы Леса – здешние свиньи были так же многодетны, как и те, которых я знала по прежней жизни.

Ну почему я робела, скажите? Не потому ли, что они – единственное из трех племен – были неподдельно, по-звериному, по-животному, как бы демонстративно голы?

Ибо мунки обматывали по чреслам и иногда по груди кра-

пивное полотно, кхонды носили на плечах нечто вроде войлочной или суконной шлейки – и все они, в особенности Псы, были в преизбытке украшены браслетами, цепочками, а иногда и ажурными сетками, закрывавшими и без того обильный волос наподобие чепрака или попоны.

То, что я узнавала, из-за моей вынужденной немоты было обрывочным, складывалось постепенно, как мозаика из кусочков, – иные части паззла меняли свой местоположение весьма часто. Когда я научилась изъясняться на волапюке триады и разум мой проник за пределы поверхностного понимания, меня едва ли не покорило, что никакого равенства племен здесь не знают. И хотя много позже я из деликатности предпочитала думать и говорить не о неравенстве, а об отсутствии тождества, – первое впечатление оказалось все-таки более точным. В рутенском правосознании неравенство означает классовость, классовость предполагает дискриминацию. В лесном, биологическом сознании триады – это неравенство уровней в буквальном и переносном смысле, иначе говоря, умение племени найти свою экологическую нишу и именно этим выделиться. Быть самим собой и не претендовать на чужую роль.

Роли же племен были совершенно различны.

Общая для взрослых кхондов роль думателей, подателей идей, мозгового центра триады внешне выражалась в том, что самцы возлежали в полутьме больших ветвей или медовом полумраке хижин, а самки издали надзирали над ма-

лышами и их обезьяньими няньками. Воплощение созерцательного, интуитивного и всеобъемлющего, по словам мунков, разума... А вот кхонды-юнцы, которых, по моему представлению, нарожалось едва не вдвое больше девиц, занимались в отдалении от лагеря то ли спортом, то ли военной подготовкой – во всяком случае, чем-то невыносимо шумным и азартным. Девочки и девушки тоже тренировали тело, но главной для них была наука «держания дома». Впрочем, вернее было бы перевести – «очага», «кельи». Мужской Дом, Женский Дом были ключевыми понятиями, как бы двумя половинами кхондскости. Не воплощенными в форме большой хижины и даже сборища на поляне, а идеальными: особое воспитание для мальчиков и девочек, свой стиль украшений, интонационные и мелодические различия в речи...

Раз в году, весной, для молодежи наступало время заключения брачных союзов, и тогда во всем блеске и отточенности разворачивалось телесное мастерство молодых Псов: шуточные поединки и сражения армий перемежались бегом через заросли и танцем на круглой арене. Честь выбора принадлежала даме, по крайней мере, в первый раз: вторичные браки – более по нужде, чем по сердечной склонности, – иногда заключались, но не служили поводом для такого глобального торжества.

Мунки, при всей приткости ума, служили руками кхондов и отчасти сукков. Последние жили в отдалении и большей частью были вынуждены обходиться как-то иначе. Обезьяны

трудились весь световой день, с утра до ночи, и с утра до ночи двигались их виртуозные, длинные, изящные пальцы, – которых, в сущности, было не десять, а двадцать у каждого, – строгая, обтесывая, вытягивая пряжу из кхондского пушного подшерстка, лепя глину и вращая жернова и точильные круги. Их живой, подвижный разум казался незаменим в изобретении новых вещей: особенно отличались они в ткацком и ювелирном мастерстве. Конечно, они же, когда приходилось, промышляли собирательством, готовили пищу, но без того энтузиазма. Все занятия ремеслом на грани искусства казались им, на мой поверхностный взгляд, легки – они поистине вытанцовывали жизнь, как первобытную ритуальную пляску.

Кстати замечу следующее. Кхонды на фоне повальной деловитости мунков казались мне вначале аристократами и бездельниками (забегая вперед, скажу, что первое было верно, второе – нет), но рутенские клише здесь оказались непригодны. Они и наряжались не так пестро, и цель преследовали иную: их драгоценности, откованные ли из золотой и серебряной нити и украшенные самоцветами, плетеные ли из кожаных ремешков попеременно с крашеными семенами, – служили для медитации.

В работе мунков не было резкого деления на мужскую и женскую – вроде бы даже физически они не слишком различались. Муж и жена трудились рядом: тот, кто был менее искусен или более силен, помогал. Символом этого племени

было Сплетение. Недаром сами их жилища были свиты из прутьев! Племя – большая семья, пронизанная сложнейшими нитями родства и свойства, из которой не очень рельефно выделились супружеские пары; едва подросшие и взрослые дети подчиняются племени скорее, чем родителям, хотя почитание «зачавшему и выведшей в свет» сохранялось на всю жизнь. Ребенок мунков всегда оставался им для своих родителей, даже если у него пошла седина по всему телу.

Когда какому-нибудь обезьяну занудобливалось жениться, брачных сезонов не соблюдали. Устраивались смотрины и сговор, в которых участвовало все безбрежное мунковское семейство и даже все наличное племя – уже в качестве наблюдателей, депутатов без права решающего голоса. Длилось это, по неписаной традиции, ровно сутки, которые и выкраивались с некоторым трудом. Состязания в ораторском искусстве, имевшие место быть, во многих смыслах стоили кхондского **Большого Гона**. Если они заканчивались соглашением, родне девушки платили выкуп, а жених и невеста обменивались подарками – обычно тяжеловесными медальонами на цепи, которые ни он, ни она потом почти не носили, однако хранили тщательно, всю жизнь, как символ нелегко завоеванной победы, талисман, приносящий удачу в браке...

Но нередко группа сотоварищей-одногодков, стакнувшись, похищала девицу прямо из-под носа родни, и чем нахальнее это было оформлено, тем для молодежи почетнее. Великолепный повод поразмяться, наставить и заработать

уйму полновесных синяков наилучшей чеканки! Щедро лились кровь из царапин и виртуозные поношения изо ртов – но ни членовредительства, ни похабства, ни даже недовольства сроду ни у кого не наблюдалось. Даже у невесты, чье-го согласия вроде бы не испрашивали: в любом случае похищение оставалось для нее одним из самых ярких жизненных воспоминаний. Вот только выкуп родителям в случае покражи существенно снижался: из него жених и его шайка вычитали в свою пользу отступное. Без того невесту не отпускали домой, а значит, и свадьбы нельзя было сыграть во всю ширь – но какой же мунк не любит погулять на законном основании!

(Сейчас, преисполнившись жизненного опыта, я думаю, что умыкали по большей части некрасивых – дабы придать им веса и значимости в их собственных глазах.)

Теперь о сукках.

То, что кабаны были сторожевым войском, пограничными отрядами, разумелось само собой, но было отнюдь не главным в зыбком равновесии здешнего мира. Пусть клыки их были боевым тараном, темперамент – неукротимой молнией, интеллект – взрывчаткой; пускай непомерная сила их не шла ни в какое сравнение ни с мункской, ни даже с волчьей – настоящая роль их в сообществе была самая что ни на есть мирная: быть поварами, парфюмерами, лекарями. Это были химики – в средневековом, а не рутенском смысле этого слова. Хирургией, правда, занимались под их надзором

мунки, да и стряпали тоже они: типичные «кухарки за повара».

Кулинария была суккским коньком. Приправы могли сто-кратно усилить природный вкус или неузнаваемо изменить; особое мастерство требовалось, чтобы не просто гармонично соединить разнородное, что-то оттенив, иное ослабив, но сплести все обонятельные и вкусовые оттенки в единое целое. Сукки самолично, не доверяя никому, выкапывали корни и травки своим архичувствительным носом (я не осмеливаюсь назвать его рылом). Посреди нежного «пятака» или, пожалуй, короткого хобота, у них был то ли присосок, то ли палец – тоже вроде как у слона.

Их особенное искусство было востребовано в основном утонченными мунками – кхонды предпочитали простую еду с чистым вкусом, дабы не отвлекала от медитаций. Я, по причине неразвитости вкусовых сосочков и нюхательных бугорков, присоединилась к последней пищевой традиции, тем более, что вкусы во всей триаде были, как я сказала, сугубо вегетарианскими. Однако позже, когда я стала меньше кормить моих двояшек грудью, сукки разработали для меня эталон питания: чтобы я получала максимум пользы и удовольствия и незаметно для себя самой приобретала свой неповторимый аромат, визитную карточку кхондской женщины, в каковых я, оказывается, теперь числилась... Кабаны умели отделить то, что на пользу и что целебно, от клонящегося к закату, которое поэтому могло быть употреблено без вре-

да для природного равновесия; и точно различали достигшее полной зрелости и то, что уже носит в себе свою гибель. «Глотать смерть» было делом рискованным и никому не позволялось, кроме самих сукков. Еще они остерегали других соплеменников от поедания корней и толстого стебля. Плод и лист со спорами и семенем, в отличие от главного жизненного протока, не гибнут, проходя через тебя, напротив: обогащаются их способность произвести новую жизнь. Трава подобна шерсти – опадает и прорастает заново... И не бери того, что мало, пользуйся от изобилия, учили кабаны. Численность и распространение вида они определяли не на глазок, как мунки, не интуитивным счетом, как кхонды; просто ощущали, как озеро на лесной прогалине, как лагуну согретой воды посреди холодной, как рыбы косяки в океане. Как множество связей, паутину натянутых и трепещущих нитей: сукки умели уклоняться от них, не разрывая. Как облако меченых атомов – они умели отобрать их поодиночке.

Нужно ли как-то особо комментировать их медицинские умения? Если говорить начистоту, Триада почти не знала болезней. Наполовину предсказанная смерть той бедняжки, матери моего приемыша, была следствием пожилого возраста и сердечной слабости, от которых никто не мог уже уберечь упрямыцу.

Прозвище сукков было «корнезнатцы», а тайным смыслом его – то, что они видели корень вещи так же точно, как волкопсы – сущность любого явления. Мунки, эстеты и вер-

хогляды, не обижались на свою репутацию, однако в отместку всячески подтрунивали над кабанами: немного из-за плохого, резкого их запаха, который те вечно перебивали отдушками, не в силах навсегда изменить, больше – из-за своеобразно понимаемой семейственности. Сукки были, в отличие от прочих племен, полигамны и водили за собой гарем из двух-трех, а то и более, женщин с детишками. Холостяков, в отличие от кхондов, среди них почти не было – девочки рождались в избытке, появление на свет ребенка мужского пола считалось великой удачей. Семьи сукков, в отличие от кхондских, были не маленькие, однако и «сплетения» мунков их вовсе не прельщали. Центром семьи был сильный муж во цвете лет, женщин и стариков любили, но главенства над собой не давали никогда.

Иерархия племен оригинально отразилась и в способе расселения. Как я уже говорила, «верхогляды» и свободные художники мунки взирали на мир свысока. Гнезда среди гигантских ветвей – непроницаемые для дождя, уютные раковины о двух створках, иногда промазанные изнутри глиной; прутья сплетались вокруг живой основы гнезда семейным, фамильным, клановым узором, как мне сказали, более четко повторенным на крышке, где не было нужды огибать и щадить центральную ветвь, «мать гнезда». Внутри, на мягких коврах и крашенных войлоках, попискивали детеныши, ворковали их матери, к вечеру оттуда доносился гортанный, звонкий говор мужчин. Днем почти никого не тянуло под се-

мейный кров – теснота внутри была жуткая. Спасибо, хоть воздух постоянно был свежий и легкий.

Сукки, понятное дело, зарывались в землю; под свои крытые лежбища использовали ямы от сваленных ветром деревьев, провалы и промоины в почве, норы, образованные самой природой – оставалось только навести свод из корья, укрепить лаз ивовыми дугами. Верхняя вода проникала вовнутрь не более, чем в гнезда мунков, благодаря хитроумному плетению, выверенному углу наклона. Но внизу был не ветер, а влажная земля, войлоки не годились, прели, поэтому в дело шли толстые маты и циновки из болотной травы. И хотя запахи здесь господствовали, благодаря умению наших парфюмеров, самые изысканные, мне поначалу всё чудился бодрящий дух кондовой рутенской деревни...

А вот жилище кхондов заслуживало особой хвалы и слов о «золотой середине». И понятно: если другим племенам необходимо было лишь место для ночевки, то волкам, как головным, – простор для гостевания, для совета, для полного смыслом и символикой сбора всех трех племен вокруг дома вождя. Цилиндрические в сечении, с шатровым верхом, хижины были без окон, свет и воздух попадали сквозь тонкую щель между стеной и накатом гонтовой крыши, но их казалось в избытке: так светлы и чисты были дранки, такой медовый дух шел от дощечек, которые плотно подгонялись друг к другу. Такое жилище было на деревянном же каркасе и легко собиралось – неоценимое преимущество для любии-

телей кочевья. (Ведь Триада, как вы могли догадаться, была народом кочевым, не желавшим обременять собой землю в одном месте. Норы, да и поднебесные ракушки, конечно, перевозить никто не пытался – стояли порожние до времени возвращения перелетных хозяев.) Пол у кхондов делался глинобитный, реже – из плоских каменных плит, но самым шиком были керамические многогранники, которые особые любители прекрасного возили с собой на волокушах. Сверху них постилались войлоки, не четкие и нарядные по рисунку, как в гнездах, но состоящие из неярких абстрактных фигур, как бы плывущих, перетекающих друг в друга. Две-три постели располагались по кругу, одним боком к чудесному огню, который горел в неглубокой чаше и накрывался на ночь колпаком. Дым уходил в потолок, но не чернил его золой, а как бы прокапчивал до смуглого оттенка. И бронза почему-то не жгла, хотя ее тепло в первые ночные часы было нелегко вынести. Слово такое, я думаю, знали мои хозяева.

Кровати были устроены на индейский манер – матрас лежал на упругой сетке из волокон, подвешенной на коротких колышках, чтобы снизу сушило и продувало. Именно тут я и спала на спине, зарывшись в бесчисленные легкие покрывала, и дети прижимались ко мне: дочка с левого, кхондский детеныш – с правого бока, – переползали через мой живот, едва проснувшись от яркого здешнего солнышка. И охранял меня тот, которому с первого дня дала я прозвище «Великий Вождь»: может быть, и не великий, но бесспорный во-

жак всего племени кхондов и, значит, всей Триады.

Почему я с первого часу поняла мое жилище как улей? Ясное дело, из-за сот, четырехугольных ниш, покрывающих стены, как в старинных дворцах суахили. Одновременно они служили каркасом. Это переплетение длинных досок, идущих в обоих направлениях, во всем богатстве древесных оттенков: рубинового и янтарного, сероватого и розового, кремового и черного, как гагат, – само по себе было украшением, а еще внутри, открыто или – реже – за узорной дверцей хранились покрывала из некрашеной кхондской шерсти, рисунок на которых был составлен из нескольких тонов, подушки и перины как бы из гагачьего пуха или семян большого одуванчика, сумки и коробья из лубяного волокна, глиняная, бронзовая и даже серебряная посуда, но больше всего деревянной, которая ценилась своей способностью удерживать запахи. Все это еще напоминало мне Дальний Восток своим примитивным внешне, но тонко рассчитанным изяществом.

Стоял тут и сундук. Когда мунки увидели, что мое «крупное украшение» или «съемная шкура» меня тяготит, то сразу же соткали мне облегченную копию в духе наивного примитивизма, а позже начали мастерить изделия фантастически красивые, удобные и вполне уместные в здешних субтропиках. Похоже, идея одежды как всецелого покрытия посещала их и раньше. Были тут, конечно, и всякие подвески-привески на шею, лоб, запястья и талию, но я даже не знала, что

куда вздуть: как оказалось, существовала целая система ношения на себе ритуальных безделушек, которые давали информацию о хозяине. Наверное, я и в целом казалась им не столько одетой в моем понимании, то есть не голой, сколько тяжеломерно и «крупноблочно», так сказать, наряженной.

Ну, вот эти вещи и сложили в специальное вместилище из розового дерева с инкрустацией, раскладывающееся лесенкой, будто шкатулка для рукоделия – такая была у моей покойной тетушки, – но, ясное дело, куда больше.

Побывала здесь одно время и колыбель такого же романтически-пороссячьего тона, куда попытались было поместить мою дочь (знали, однако, повадки древнегреческих ощипанных куриц; откуда вот только). Но ее братец, который рос как на дрожжах, а вместе с ним – его родные и молочные братья и сестры мигом поналезли туда вслед за ней и устроили внутри веселую щенячью свалку. Тем дело и кончилось, и уж больше никто не поднимал вопроса о раздельном с матерью сне, гигиене, кормлении по часам и прочих требованиях великой рутенской цивилизации.

О существовании такой моральной ценности, как специальный закрытый сортир, в Лесу не подозревали тоже. Вазы, судна и прочие специзделия тонкого ремесла с иронико-фаллической символикой служили удобству, особенно в ночное или холодное время (время «пения воды» или «водной беседы»), а так все народы бегали до ветру. Однако следы жизнедеятельности, даже, в конечном счете, кабаньи, облада-

ли нерезким запахом наподобие мускусного, природа легко приспособлявала их к своему делу, а утилитарную нагрузку они несли немаловажную. Когда мне срочно занудобливалось выйти за пределы естественной границы поселения, я продиралась буквально через частокол самых разнообразных меток с риском вляпаться. Для всех прочих проблемы не существовало, и над моим грубым нюхом все время добродушно посмеивались.

Много позже, когда схлынуло первое очарование кхондским бытом, я научилась вдобавок ценить и непоказную грубость естества, которую подчеркивали в своем быту сукки. Их жилища воплощали в себе, так сказать, «чистую идею землянки», не артефакта, как волчьи, но едва ли не полнейшей нетронутости природного начала, пребывания в материнском лоне.

Я полюбила гостить в тесном (буквально) кругу их гаремов, ловить неразвитым чутьем терпкие запахи земли, вывернутой наизнанку, ее травность (или травизну?) и почвенность. Есть вместе с ними из широкого и плоского блюда, усевшись вкруговую, боком к боку, без чинов – между самкой и подсвинком, пока хозяин, его отец и мамаша, жены и дети деликатно разбираются в груде еды нежными пяточками – инструментом куда более тонким, чем концы моих пальцев. Еда эта не размешана, поделена на островки вкуса, и схватить ее ртом или пригоршней значило совсем не уважать мастерство хозяйки.

И к мункам я решилась, наконец, взобраться. Их идея – идея совершенного гнезда, переплетения как прутьев, так и семейных связей, сложнейшие определения родства, обычай их с акцентом на внешней изощренности, многоцветии и многозвучии, на отсутствии шор, фильтров для впечатлений – более всего роднила их с богемой как с родством не столько по крови, сколько по духу. Они – ювелиры и краснодеревщики – переделывали в свои изделия тяжелое сырье, добытое другими (а кем? Не знаю), но сырьем, вернее – пробным камнем искусства, полигоном творческих возможностей – была и сама их жизнь. Кхонды и сукки получали уже самую квинтэссенцию мункского мастерства.

Мунки жили беспорядочнее всех в Триаде, но это было кипение жизни в искусстве. Сукки были внешне грубы – из желания выявить суть.

А кхонды? Кхонды владели и тем, и этим ремеслом. Обладали тайной и умением срединного пути. Пылание мунков, благородная сдержанность кабанов были для них не целью, а средством бытия.

Я же... Я любила кхондов больше всех прочих. Да что там, я и вправду становилась одной из их племени, как хотели того и сукки, и мунки. И чем более сокрушалась о своей немоте, о своем несовершенстве, тем проще его побеждала.

Ведь жила-то я пока во многом рутенскими представлениями, которые засели где-то на уровне подсознания: это вроде бы именуется ментальностью. Благодаря этому чисто-

сердечно радовалась сущим для Триады пустякам: тому, что меня исправно кормят, моют и выгуливают, стирают пеленки дочери с мылом, по-древнеримски вонючим (на самом деле – обеззараживающим, в ароматах и умягчителях они знали толк), что в нашем доме ровно столько гостей – моих кхондских сестер с детишками, – сколько мне по душе и не в тягость, что дети наши совсем не капризничают, потому что все их желания исполняются сразу. Ни тоски, ни депрессии, столь обыкновенных у человеческих родильниц, я не испытывала.

Как я узнала эти этнографические детали, не понимая языка, спросите вы? Да, пожалуй, именно благодаря тому, что не стояло между мной и Тριάдой этой грубой и ущербной, двойной (вокруг самого говорящего и вокруг того, кто слушает) оболочки, которая, создавая иллюзию понимания, прячет от одного племени жизнь другого. Образы, жесты, ситуации... Театральные миниатюры, которые разыгрывались женщинами в мою честь... Понимание на уровне системы первородных образов, которая еще не закована в броню, не расчленена сетью понятий. Хотя меня начали обучать настоящему языку Триады практически сразу, когда я еще не догадывалась, что это вот и есть – язык. Псы-холостяки, которые устраивались ради нашей с Вождем охраны по ту сторону частой решетки, что служила нам дверью, а по эту сторону – нянюшки-обезьяны перебрасывались между собой тихими, четкими фразами, то и дело являлись кхондские матери

– по первому впечатлению, чтобы надавать нянькам благих советов – а моя дочь лежала у моего сонного бока, смиренно сопя носиком, возилась на полянке перед домом Отца-Моего-Сына, барахталась посреди мохнатых тел, повизгивая и лепеча, дергая за уши, гривки и хвосты, обмениваясь тычками и царапинами... и не только ими... Все это входило в мой открытый слух, проникало через зрачки и поры кожи, оседало на поверхности души; и я училась так же точно, как мои дети.

Теплая возня на моих коленях, влажные носишки, из которых в жару каплет чистая влага, вкрадчивые язычки, полная охалка зверенышей, своих и чужих, молочных и кровных братьев и сестриц. Их матери добры и серьезны, они повторяют свои слова, они испускают запахи, перебрасывают мосты аналогий между реальностями и накидывают на них оболочки общих понятий, выделяют смысловые грани и стирают смысловые границы. Это урок любви, урок в любви...

И все-таки первый настоящий урок дал мне мой Вождь.

– Арр-кк-хха, – рыкнул он прямо мне в лицо, возлежав на постели рядом со мной, сидящей свесивши ноги; и жарким духом псины повеяло из его алой пасти.

– Аркка, – повторила я, догадываясь, чего от меня ждут. Он молчал.

– Арккхха, – на сей раз я раскатила «р» и буквально выкашляла это последнее «кх».

– Арркххха, – удовлетворенно сказал он и перестал благо-

ухать. Считай, конец передачи...

Потом он царственно наклонил голову и лизнул своего сына, который спал на моих коленях.

– Арр-тхх-аа-нг.

– Ах, так это Артан. Легко запомнить, Арданом звали соседского овчара-южака в бытность мою рутенкой, – пошутила я, ощутив на губах как бы молочный запах чуть картавого «р», совсем иного, чем в первом слове, и носового «н»: будто лопнул пузырь на молочной каше. – Произношение потом доведем до кондиции. Да, кстати, Артханг – это навечно или, как у наших лесных народов «Ункас» или «Ути» – первое имя мальчика?

Шутка до него не дошла явно – я, понятное дело, говорила на своем личном языке; однако Арккха все равно ухмыльнулся во весь оскал и нюхнул голое плечико моей дочери. Она проснулась, радостно пискнула и мигом уцапала хозяйку за бакенбарду.

– С-р-н, – пробурчал он, норовя высвободиться.

– Серена – покой, **serenity**. Имя хорошо давать сорванцам в качестве благого пожелания. Или это знак величия – «Серениссима» ведь имя Венеции. Может быть, это еще и сиринга, тростник или свирель. Вот никаких сирен-обольстительниц или сказочных птиц Сиринов нам не требуется, верно?

Арккха мотнул башкой из стороны в сторону, будто соглашаясь, тихо присвистнул, как ветер в осоке, – и я ощу-

тила свежий запах бегучей воды, дыхание здешних пурпурных кувшинок, которое этот ветер разогнал по округе, резкий шелест гигантских крыл над ночным заливом неведомого мне моря. Так я узнала три самых главных для меня слова и одновременно поняла самую непередаваемую суть лесного языка, в котором звук двигался параллельно с запахами, которые имитировались, а, может быть, и отчасти вызывались в сознании слушающего, рождая образ. Здесь говорили и познавали поистине всем телом.

– А я Татьяна. Тха-тти-анна, – представилась я впервые в здешней моей жизни. Ранее это казалось мне маловажным. – Любопытно, как ты это проодорируешь, старина, я-то ведь не умею.

Он еще раз улыбнулся и пуще прежнего стал похож на лихого и выдавшего виды дворнягу.

– Значит, не заслужила я еще прозвания от вас, – сказала я. – Ну не беда. Главное – чтобы детки были здоровы.

Скоро я окончательно уверилась и в том, что ребятишки мои крепко держатся на этом свете. И с тех пор во мне произошла как бы подвижка весеннего льда: ушла последняя, подспудная тревога, язык обрушился на меня подобно водному каскаду, звук и запах сливались с интонацией, причудливая архитектура фразовых периодов звенела каплей из сосульки под мартовской крышей, гнев и приязнь, грубоватый юмор и утонченная ирония (иголка в душистом стоге сена), ласка старших и задиристое преклонение младших ро-

няли переливчатые тени...

Так во время «водной беседы» мы набивались в дома, закрывали почти все продухи под крышей пластинами из горного хрусталя или аметиста, в очаг ставили огромный бронзовый котел – собирать мягкую воду – и слушали уже не болтовню дождя, но дрожащий на ветру голос самоцвета, но ясный колокольный звон округлой медной ноты. Язык Леса.

Усвоить подобное говорение казалось невозможным, но если нельзя выпить реку ртом, можно просто погрузиться в нее всем телом.

Прежний мой язык, привычные лексемы вместе с теми образами, которые они ограничивали и маркировали, да и сами образы оказались в конце концов настолько неприменимы к теперешней реальности, что впору было бы совсем их отбросить, если бы не попытка описать ее для другого – именно для вас, мой невидимый и неведомый читатель.

Начнем с того, что слово «Триада», «Троица», «Тройчатка», хотя и было мною выдуманым, имело за собой верно угаданный образ троякого листка, подобного нашему клеверу. Этот лист плавных очертаний касался окружности лишь тремя точками, но мог быть вписан в нее бесчисленное число раз, так что внутреннее и внешнее были равны друг другу. Одно было равно трем, а три порождало целый океан пульсирующего зеленого цвета, который то растекался внутри всего периметра, то схлопывался в точку на нем.

Ряд других ошибок, обусловленных стереотипами моей

второй сигнальной системы. Я определила здешних Живущих как травоядных. Тогда почему кхонды – не лысые, как перуанские собачки, а довольно-таки мохнаты? Если и они, и их спутники существуют за счет примитивного первобытного собирательства (полей и в самом деле не было или почти не было, лекарственные лужайки и те скорее оберегали, чем культивировали), то как они не истощили растительность во всей, пусть и весьма обширной, зоне своего кочевья? Ведь известно, что их способ жизни требует пространств.

Оказалось, вовсе даже не требует: кочуют они и то более для смены впечатлений, ибо информационный голод для них куда более страшен, чем плотский. Изобилие Леса не умело истощаться, он дружил с моими соплеменниками и в те плоды, зерна и листья, что отдавал им по доброй воле, щедрой рукой вкладывал необходимое.

Слабые термины, неточные аналогии! Из моих слов можно вывести, что Лес обладает человеческими качествами, но это не так, речь может скорее идти о симбиозе, об интуитивном самопрограммировании всего живого в Лесу и о том, что мои друзья мыслили себя такой же частью своего обиталища, как цветы и траву, деревья и озерца.

Сам Лес нимало не напоминал среднерутенскую холмистую равнину с островами древопосадок. Он был светел и чист, нередко простирался на невероятную высоту, однако поляны и водоемы – места для удобной стоянки – попадались нечасто. Его растительность была, пожалуй, сходна с

нашей родимой. Так, на поросших коренастыми соснами и великаньими елями лужайках каждую весну оголтело цвели ярко-желтые шары величиной с мою голову. Дня через три они становились блескуче-кремовыми и при малейшем ветерке отрывались от своего ложа, наполняя воздух медленным серебристым кружением. Семени мы с мунками позволяли пасть наземь, а шелковистые «парашютики» шли на набивку перин и подушек. На этих страницах мне приходится называть их одуванчиками; кхондское же имя, «сола» – сплошная молочная горечь и вязкость сока, что течет из оснований ненароком сломанного мясистого листа, овального, с зазубринами. Или, к примеру, кедр. Это, как и в Сибири, – отнюдь не кедр ливанский, а всего-навсего кедровая сосна, коренастая, с округлой кроной, только что размером поболее своего библейского тезки. Длинную, зеленовато-седую хвою толкли в ступе или корытце, как и берестяную тапу, вымачивали смолу и пряли оставшееся короткое волокно – получалась теплая «сосновая шерсть», целебная при простуде. Круглые орехи, размером с фундук, были собраны в плотную гроздь, видом сходную с формой идеальной виноградной кисти, но жесткую и как бы лакированную. Их молочный и сладковатый сок был до поры до времени защищен чешуйчатым доспехом, а их собиратель – тем, что шишка росла на короткой жилистой ножке, имеющей правило отсыхать только ночью, во время сна дерева. Поднимаясь с постели при луне, я иногда слышала, как такая живая бомба с шелестом

ухает сквозь ветки и потом долго подскакивает на пружинящем хвойном ковре...

Аналоги привычных мне диких яблок и груш, сливы, черешни, брусники и земляники были крупнее, сочнее, изысканней по вкусу даже домашних, а бататы (некие бобовые, что отращивали одновременно и круглые, наподобие помидора, стручки, и удлиненные клубни) усваивались легко и радостно, поэтому никто из Триады не ощущал себя ни перегонным кубом, ни передаточным звеном между природой и мифическим ее царем.

Были слова для мелких «Быстроживущих», для украшений и поделок, для мысленной связи живых и неживых вещей – по ощущению последние походили на стрелу в полете, спираль, сеть или паутину – и я поглощала их в невероятном для себя количестве, почти не утомляясь. По способностям (их качеству, но не количеству) я поистине была кхондкой, хотя, без спора, какой-то недоделанной, ущербной, вроде дауна: ни тебе лучистого взгляда, исполненного игры и вселенской проницательности, ни меха, подобного драгоценной мантии, ни горделивой осанки. По виду – бледный мунк-переросток, которому вздумалось помыслить о чем-то совсем несъедобном... И еще я казалась такой же ученицей, что и моя дочь, только гораздо более долговязой: навроде старшей сестрицы для двух вертячих чад, что росли будто наперегонки, грызли что ни попадя, пачкали мордахи и заднюшки и ужом пролезали во все возможные и невозможные места.

Серена к тому времени прочно стала на дыбки, но ходила, тем не менее, цепляясь за Арташкину шерсть. И вот я мою четыре пары конечностей, две рожицы, один хвост, одну голенькую тыловую часть, чешу спутанные кудряшки и тонкий младенческий пух, который за одну только ночь может свалиться в откровенный войлок, а уж за день собирает на себя все колючки. Мою, чешу, кормлю – а сама вслушиваюсь.

Да уж, это не было зефирное, бело-розовое человеческое гуление, не лелеканье мункской малышни, не подобный резкой двенадцатиладовой флейте визг кабанят, а звучное как бы покашливание, гортанные всплески, рокот в носоглотке, россыпь сонантов за белыми клычками, вибрирование натянутых, как струны, связок, из которого рождаются кхондские гласные, чтобы лететь впереди всей оплотненной согласной речи. Потому что дети мои оба были Волками – и в куда большей степени, чем я была Псицей... или человеком. Звали они меня и то не по-рутенски, мамой или там дэдой, а Тати, Татхи. Это было детское слово для родильницы и родительницы, а взрослое, которое изредка слышалось рядом с их ушами, звучало как Йинни или Йони, главное и почетное имя матери, что тебя породила. Йини Татхи, мать-госпожа, в предельной глубине смыслов – порождающее лоно: жаркая бездна, а внутри небо, по которому рассеяны звездные семена. Артханг – стрела в полете: хлопает, щелкает тетива, свистом пробивает себе путь над пропастью резанный из бука, увенчанный орлиным пером бронзовый гонец, неся при себе

тонкое лассо, наводя мост. И Серена: не гибкий тростник, не жалоба свирели, а крылатая песня, властно объемлющая лунный мир, мир почти полной своей тезки Сэрран, по-нашему Селены...

Так прояснялись наши имена.

Запись вторая

Талант – человек, которому человеческого дано более, чем прочим. Гений – вовсе не человек.

Узнав поначалу один кхондский, я стала вникать в другие диалекты. Суть дела состояла в том, что в самом начале сплочения Триады из местных языков, уже достаточно сложных, была извлечена квинтэссенция, лингва-франка или, скорее, индейский язык жестов, не такой обширный, но отчасти унаследовавший от своих прототипов грамматику, естественно, закодированную и сведенную к некоторому общему знаменателю. В грамматиках трех языков, я думаю, было куда больше сходства, чем в лексике.

Затем, обогатившись спецификой мимики, одораций, впитав в себя богатую символику каждого из трех племен, этот лесной эсперанто снова разошелся натрое и вернулся в те речевые стихии, которые его породили, отпечатавшись в каждой, подобно штампу. Его следы угадывались в любом из диалектов, он составлял то ядро, через посредство которого общались племена, однако любое стремление двоих углу-

биться в тему заставляло каждого из них усваивать язык собеседника все глубже. По этой логике, я была носителем четвертого племенного языка уже в силу того, что выучила «общий язык» и приложила его к рутенскому – только вот собеседника мне не находилось.

Нет, разумеется, я ладила и превесело болтала уже со всеми, хотя близко ни до кого не касалась, как и в прежнем бытии. Было несколько волчиц, то ли приятельниц, то ли родственниц, была мункская домоправительница и ее подруги. С ними велись долгие, поначалу не совсем членораздельные беседы о том, что насущно, – о детях, их воспитании и кормлении. Мы быстро вырастали из этого круга тем – вместе с нашими питомцами, – и наше «сестринство» распадалось, хотя положиться на мою молочную родню было можно всегда. Мальчишки особенно легко ускользали из-под материнского надзора: моя парочка оставалась домашней на удивление долго... Может быть, потому, что эти двое были не пасомыми, а упасающими – меня, свою незрелую мамашу.

Приятным казалось мне общаться с мунками обоего пола: темы бесед были предметны, наглядны и относились к прикладной эстетике. Красиво одеваться и меблироваться, а также с толком кушать – всегда насущно, эта плодоносная ветвь не иссякала. Пожилой светло-серый обезьян по имени Раух сделался даже моим личным маэстро детских погремушек из серебра и электрума.

С кабанами я общалась мало и поверхностно, хотя и по-

больше прежнего времени, когда общение сводилось к одной чинной дегустации в кругу суккской семьи. Это, при ближайшем рассмотрении, оказались традиционалисты и самую малость зануды, речь их, наиболее близкая мне по стилю, мне же этим и претила: формальная логика, рацию без примеси интуитивизма, тяжеловесное анализирование мысли вплоть до самого ее зарождения. Погоди, останавливала я себя, ведь это и замечательно, только ты не понимаешь. Сукки – корнезнатцы, на косую сажень в землю чувят, тогда как кхондское обоняние – верхнее, верховое, точно ветер. Кабаны живут в нижнем мире, твоём мире, а где витают кхонды – тебе не дано пока познать.

Все это были мои проблемы, но, к счастью, – не проблемы моих детей. Серена с самого что ни на есть ползучего возраста была среди своих своя. Дети вообще легко друг друга понимают, слов им для этого не требуется, а отсюда вытекает и привязанность взрослого населения к не своему младенцу. С кабанятами она общалась на уровне истошного визга и дерганья за хвостики; но на этой почве у нее объявился самый настоящий друг, и какой! Хнорк Могучий и Величайший, матерый хозяин самого большого гарема. Снисходил он даже до того, чтобы ее – и одну ее – катать на своей крутой спине.

То же было и с мужчинами-кхондами. Я побаивалась не только отцов семейства, но и резковатых в обращении половозрелых юнцов. Не могла себе представить такого Артханга, он ведь был совсем домашний и мягкий, даже когда

задирался по-мальчишечьи! А самцы Волков, хотя и ставили себя не так высоко, как своих самок, и были со мною – кхондской женщиной – любезны и открыты, постоянно давали понять, что это именно они держат сей мир в равновесии, и отнюдь не грубой силой. О чем ни спроси мунков – это, скажут, кхонды примыслили...

А моя дочь, бывало, пройдет мимо, держась за стволы ручонкой, так они все потупятся, чтобы не обидеть прямым взглядом, и первыми с ней никогда не заговорят, брата или кого еще попросят, чтобы передал.

Кстати, у Серены с Артхангом, как это иногда бывает у очень близких друг другу брата и сестры, сложился один жаргон на двоих, и я в изумлении выслушивала длиннейшие диалоги, которые вились и скрещивались наподобие серпантина, летящего в воздухе вечного карнавала, взрывали воздух, как распускающаяся сирень, благоухали, как флакон с народом. Серена усваивала от брата (как и от нянек и еще более – приятелей) все три лесных диалекта сразу, Артханг подражал ей в рутенском наречии, которому я ее не учила, – избави меня Бог от такой сентиментальности, – только разговаривала с ней до родов и после, в грусти своего временного немотства; и дети мои, как по маслу, вкатились в двуязычие.

Родным для обоих был, конечно, кхондский язык, выразительный и четкий; они с восторгом учились плавать в море аналогий, звуковых, цветовых и ароматных, фантастически

запутанных. «Компьютер мне, компьютер!» – хотела крикнуть я, ползком и на карачках преодолевая барьеры, через которые Серена перелетала как на крыльях. Ей удавалось и такое, что никогда не было свойственно ни человеку, ни кхонду, ни мунку: использовать два языка параллельно – рутенский как фон, плеск ручья, в котором перекачиваются булыжники кхондских лексем; говоря на языке Волков – переплести, изогнуть в иероглифе не только пальцы, но и всю свою пухленькую фигурку, пустить волну или тонкую струйку непонятного запаха, чтобы оттенить смысл, состроить гримасу запредельного ужаса и тут же принять личину шутовского благоволения.

Вот мальчишки-кхонды, которые постарше, устраивают показательные бои на потеху прекрасным сверстницам, и пузан Арташка цапает их за шкуру своими новенькими зубками, а Серена, смугло-румяная и взлохмаченная, топчет ножками впереди девичьего хоровода, смеясь и подзадоривая тех и этих. Ни тишины, ни покоя не бывало в ней отродясь, несмотря на имя; но чистейший свет так и льется сегодня от лица, от позлащенных солнцем темно-русых волос.

И тут я замечаю, что упустила из виду вроде бы самое главное!

Едва я начала кое-как разговаривать на бытовые темы с нянюшкой, моя Серена пошла, вернее, побежала. Это не так уже меня удивило: как-то раз я наблюдала в Рутении хрупкую четырехмесячную детку, легкую, будто мотылек, – так

вот, она передвигалась, почти не цепляясь за мамину юбку. Куда менее привычным было, что Артханг в свои полгода, восемь месяцев, год (время, когда обыкновенный щенок становится зрелой собакой) казался не взрослей Серены. Хотя, конечно, он не просто ходил, а носился колбасой, со рвением неофита задирая ножку на окрестные кусты и стволики, чтобы доказать миру свою полувзрослость. Щенячьих ухваток, однако, тоже не оставлял, одно благо: вредничал несильно. Изгаляться над носильными вещами и домашней утварью не было у него в обычае и тогда, когда молочные зубки менялись на постоянные. Вот болтал он хоть и много, но, кажется, еще неразборчивей меня – впрочем, его собачьи братики и сестрицы тоже. Зато улыбка у него была щедрей щедрого; моя дочь переняла ее еще в таком возрасте, когда человеческим детенышам положено только хмурить бровки и реветь благим матом. Блаженство было смотреть на нее, блаженством было нянчить их обоих.

Только вот не оставляла меня мысль, что Арт как бы подгонял сестру в физическом, мускульном развитии, а она зато притормаживала его, лишая звериной скороспелости. Они были, можно сказать, близнецы – наподобие сообщающихся сосудов. Однако невероятная мыслительная мощь кхондов каким-то неясным образом перешла именно к ней, чужачке из рода чужаков, а не к Арту. Она казалась почти гением, а он – пока только славным парнем. Хотя что я понимаю, может быть, дочка попросту была талантливой голой обезьян-

кой, а мой сын – умным дитятей с образным мышлением, что запечатывает в себе окружающее без попыток разложить его по логическим полочкам.

...Таким же ребенком, как и все его погодки. Однако он был моим, моей особой отметиной, моей гордостью, и мысли мои кружились возле него, а не вокруг Серены. Наши домашние звери, думала я, – ведь это вечные дети, обаятельные именно своим живым и конкретным умом. Не мы ли делаем их такими – а они послушно нам повинуются? Мы держим их в стороне от наших насущных проблем, понуждаем их, так сказать, размножаться подобно аксолотлю, незрелыми, в стадии личинки.

Но что, если сам жар, сама непрочность нашего земного существования заставляют так жить и человека? Кто тогда, на этом витке рассуждений, Артханг и кто тогда Серена?

С этими мыслями я могла прийти только к старому Арккхе.

Он был самым солидным из жителей нашего передвижного поселения. Когда я только-только и с грехом пополам прикидывала, сколько делятся здешние сутки и вообще сколько весят здешние временные деления (и кто это обязал их совпасть с моими родимыми рутенскими едва не тютелька в тютельку), я заодно поинтересовалась и его возрастом. Оказалось, что восемьдесят пять и еще полгода: недурно для начинающего отца. Правил он, однако, не благодаря своим уникальным физиологическим данным. Это был духовный

вождь, воплощенное средоточие мудрых мыслей, становая ось Триады, и поэтому общался с окружающими он на удивление просто, доходчиво и с юмором. Со мной тоже.

– Думать – наша часть в общем деле, – говорил он мне, развальясь у самого очага и грея кости. – Когда мунки воображают себе вид, цвет и завитки новой побрякушки, их фантазия всю работу, оплетая собой некую смутную идею. Но откуда они берут саму идею, скажи? Ее создаем для них мы, как ни удивительно это звучит. Мы умеем заранее ощутить ее как раковину, полость в прекрасном и почти завершенном мире и посылаем им образ пустоты, жаждущей наполнения: и тогда вещь возникает не как излишество, но как необходимость. Сукки видят симптомы болезни, замечают разрастание эпидемии, но только мы способны узреть скрытую в глубине мира порочность, которая повлечет за собой поветрие, если ее не иссечь. Они добывают корни, ягоды и листья, не ведая, что на каждом – наша незримая метка; но и мы не понимаем, когда и как ее поставили. Мало того: каждый мунк и любой сукк видят, как настоящая вещь выходит из былой вещи, как нынешнее явление служит причиной целого ряда прошлых, но только старый кхонд наблюдает соединение и взаимовлияние сразу всех возможностей, которые таят в себе знаки этого мира. Ты веришь мне?

– Как я могу судить о том, должно ли мне верить, Арккха? Я слушаю.

– Ну и что ты слышишь?

– Безграничность возможных сплетений, непосильную такому мозгу, как мой. В моем прошлом мире такую работу делают железные машины. Только вот тебе мысль для обкатки: такие машины ценят, ими, может быть, восхищаются, но жизнь простого Живущего с примитивными реакциями и тугоуздым рассудком стоит гораздо больше.

– Почему?

– Потому что такие, как он, вкладывают в машину только часть своего естества, пусть и тысячекратно усиленную. Отсылают ее от себя.

– Ты полагаешь, что кхонды – только такие ожившие считалки?

– Нет, конечно. Только, по-моему, суть не в том, чтобы наблюдать, а в выборе. Если ты можешь коснуться тех поводов, которые управляют миром, – наверное, можешь и потянуть за один из них?

– Круто берешь. Это не в нашей воле и в ничьей воле.

– Может быть, если речь зашла о воле. О произволе, понимаешь? Одного человека, племени ли, народа... Рутены пробовали так поступить – изменить свой неприятный мир. Но хотя они просчитывали обстоятельства и возможности, сила противодействия и разрушения, взявшаяся неведомо откуда, была так сильна, что ниспровергала их замысел.

– И к лучшему. Вы учитывали обстоятельства, но не познали закона.

– Да, ты верно понял. Только ведь закон не познается –

или у кхондов иначе? Его надо не помыслить, а почувствовать – так, будто некто тебе подсказывает верный путь, от шажка к шажку, от поворота к повороту.

– Я думаю, у кхондов совсем другое. Ваш мир для вас закрыт, а для нас – картина (это его слово, читатель, можно перевести на рутенский как «книга», «икона», «артефакт»), составленная из знаков, полных смысла. Не только любая вещь, но и любое действие наше, даже непроизвольное, любое явление природы есть знак чего-то более высокого.

– Символ, – пробормотала я по-рутенски. – Символы рисованные и живые, все равно. Запредельное говорит с нами символами наших снов.

Арккха почему-то понял меня – только на свой лад.

– Ты умеешь видеть плотные сны? – вдруг спросил он. – Мы еще называем их снами тяжести... снами мощи.

– Не знаю, что это; но вы прекрасно знаете, так?

– Сны, которые понуждают тебя к действию или хотя бы к решению. Ты совершаешь что-то одно во внутреннем мире, потом просыпаешься – и нечто другое изменилось в самом Лесу.

– Я... я боюсь говорить об этом сейчас. Мне надо подумать, вспомнить. У рутенов не принято связывать сны со своей жизнью, разве что на манер суеверия.

Арккха рассмеялся:

– Кажется, не зря мы вручили тебе моего сына, о двуногая мать кхондов. Смотри за ним хорошенько; а за плодом тво-

его чрева – и того пуще!

Во время подобных заумных бесед я обычно сидела в домике, либо у огня, либо, когда устанавливался сухой сезон, – поставив на порожек ноги, согнутые в коленях, и наслаждаясь тенью. Арккха тогда устраивался на самом солнцепеке, и от его шкуры вполне натурально пахло паленым.

– Говорят так, милая Татхи-Йони: прежде чем мунку рыбу изловить, кхонд должен уговорить ее пойматься. Мунк полагается на знание, сукк – на нюх, кхонд – на удачу. Мунк видит уныние внутри того, что готово умереть – не как болезнь, не как телесную скорбь, а как истечение силы, завершение срока. Сукк чует, отчего истекает сила. Сказать, объяснить не всегда может, но чувствует. А мы – мы умеем показать любому из живущих верный путь к перерождению внутри себя.

– А я еще думала, зачем вам такие острые клыки, травоедам, – усмехнулась я. – С рыбою объясняться, значит.

– Рыбы живут в стае себе подобных почти как трава, – мой Вождь выглядел почти виноватым. – И потребляем их мы крайне редко, одна память о том осталась. Пословицы и речения.

– И кинжалы из блистающей кости.

– О, это ради прелестных дам, – Арккха беззастенчиво обнажил оружие, о котором мы говорили, вздернувши верхнюю губу в хищной улыбке, сдобрил свои слова едва заметным

теплым ароматом йони кхондской невесты на выданье. — Ну, и держать в страхе наших мунков и наших блох.

Последнее было нарочитым враньем — дабы не выпасть из образа. Мунки служили кхондам ради своей чести и по доброй воле прикрывались от хаоса щитом их мощного разума и тончайшей интуиции. А блох и клещей и вовсе ловили не кхонды, да и проку-то было от их лясканья; снова мунки с их тонкими пальчиками. Насекомых по возможности не давили, а отпускали с удивительным напутствием:

— Идите андров жрать, грязнуль этих, а нам больше не попадайтесь!

Я сделала зарубку в памяти. Было, оказывается, еще некое племя, отношения с которым, пожалуй, куда более полузабытого каннибализма мешали кхондским зубкам стать реликтом. Во время первых и нижеследующих контактов я наполовину инстинктивно (на кхондский манер) прощупывала любого собеседника: возможно ли с ним общаться на равных, как с моим хозяином, или дело снова сведется к светской болтовне рутенского образца: о еде, здоровье, потомстве, нарядах, зарплате, политике... В прошлом я так долго не находила никого, чьи интересы были бы чуть шире и бескорыстнее, что поняла наконец: меня бесит не ограниченность людей — многие были уж не глупее меня и гораздо образованнее, — а именно корысть, которая стоит за самыми высокими материями, упоминаемыми в их разговоре, к примеру, модными тогда богословскими. Пытаться урвать для

себя клочок от Царства Небесного – чем это благороднее желания пересчитать за свою жизнь побольше баб или обменять свои баблы (баксы) по наиболее выгодному курсу?

Впрочем, я и самого Арккху подозревала: не ведет ли свои интригующие беседы ради того только, чтобы залучить меня в союзники перед лицом неких таинственных обстоятельств. Вот такая муть.

О неутолимая моя жажда – найти собеседника, который, любя, не ищет выгоды из предмета своей любви! О искомая способность – извлекать из земли корень истины по-человечески, а не по-свински: не смея поднять глаза к небу!

Той порой мы кочевали в пределах Леса, и однообразная смена сезонов была тем маятником, который колебанием своим измерял течение времени. Лес был нами обустроен как наше ленное владение, Триада оказалась куда многочисленнее, чем я полагала вначале, и ее территория была размечена на всех трех ярусах так досконально, что не было ни одного участка, о котором не знали бы наши великие умы.

Чувство территории равно чувству дома; чувство дома – чувству малой родины, о котором говорили мы с Туристом. О какой родной земле может идти для тебя речь, думала я, двигаясь рядом с кхондскими волокушами, если ты не ощутил ее и не измерил собой ее просторов и пределов, не испытал их странствием, не вобрал в себя ее запахов и звуков – и не охватил ничем, помимо холодного, «исторически объективного» знания, блистательной и тоже холодной гордости

свою великой державой?

А что делать тому, чью страну никак не назовешь великой? Великое княжество Монако... Великий Люксембург... Они что, не имеют права быть гордыми?

«То, что когда-то было чужим, но прикипело к сердцу, завоевано твоими трудами, – тоже родное, иногда в большей мере, чем изронившая тебя земля, – думала я дальше. – Землю можно приучить к себе, приручить, как зверька, только и тут действует Великий Закон Сент-Экса: ты в ответе за тех, кого приручил».

И еще я думала в тяжелом ритме пешего хода:

«Наша цель, цель человека, цель кхондов – вбирать в себя чужую землю, чужое пространство, чтобы оно сделалось родиной. Проклятие для разумного – умереть в своей постели, и проклятие еще большее – сдохнуть на том одре, где он был зачат и где вышел из материнского лона. Тупой круговорот, вечное возвращение. Немногие это преодолевают в себе; большинство желает как раз обратного.»

Хотела бы я знать, кто или что говорило во мне тогда?

Шли годы. Дети мои росли и мало-помалу обзаводились ярким и своеобразным характером. Артханг выравнился: телесной статью он не уступал ни одному из своих братьев и сверстников, но так и остался длинноног, долговяз и чуть расхлябан в суставах – будто к крови черного овчара прилили немного от борзой или гончака. От этого он производил

на спортивных соперников обманчивое впечатление «хрустальной вазы», что неизменно давало ему лишний шанс, а то и парочку. Учился он, как и все четырех-пятилетние дети, в кругу старших кхондов чему-то вроде медитации. Каким-то не вполне понятным для меня образом это позволяло тратить рекордно малое время на самое насущное для рутенов – загрузку информации в мозги. Что же до моей дочки, то никто – ни мужчины, ни женщины, ни кхонды, ни мунки, ни сукки – не знал, как к ней подступиться. Но Серена была желанной гостьей у всех трех племен, и поэтому негласно подразумевалось, что она сама добудет, вытянет из окружающей среды ту информацию, в которой нуждается. Как витамины из пищи.

Я, со своей стороны, не так уж и беспокоилась. Как говорят даосы, самое лучшее – недеяние, которое позволяет, не суетясь и не распыляясь по пустякам, достигнуть сути вещей. И потом, откуда мне знать, что именно понадобится моему ребенку в этом обществе, сколь чудесном, столь и удивительном? Спасибо, бегаёт она не хуже волчонка, а на ветвях крутится и пляшет что твой мунк длиннохвостый...

И ещё я думала: как достигают сути вещей сами кхонды и как – на это намекал мой Арккха – управляют ею?

Нечто приоткрывалось. В обыкновенном рутенском понимании, которое склонно сводить веру к соблюдению неких обрядов и внешней живописности, кхонды вовсе не были религиозны. Развитому же конфессиональному сознанию, ко-

торое создавало себя на протяжении столетий и обучилось уже проходить сквозь обряды вглубь, кхондские манипуляции показались бы ересью, шаманством и кощунством, поиском Бога на ложном пути и даже чем-то худшим. На самом деле все сводилось к тому, что раз в месяц, когда луна, Владычица Приливов, Прекрасная Сэрран, достигала полноты, точно невеста царя Соломона, происходили полуночные песнопения.

– Это богиня ваша – Владычица? – допытывалась я первоначально.

(Слова «богиня» в здешнем языке, разумеется, не было, созданное мною запахо– и звукосочетание – то и другое в основном с помощью подручных средств – обозначало «Прекраснейшую и Древнюю, Желанную и Многоплодную Женщину, что обитает на обратной стороне Вселенной».)

– Нет, – объяснял Арккха.

Он понял меня на удивление точнехонько: к тому времени я, в общем, так усовершенствовалась, что даже пахнуть выучилась, но касалось это только известных мне слов. Ну и губками-глазками-пальчиками вертела излишне, на манер мунка, не кхонда.

– Живет она по ту сторону мира – это ты верно сказала, хотя сама не понимаешь, что там за Земля на обороте Каменного Зеркала... Владычица не только движет воду в малых и огромных озерах; это и Владычица Снов, особенно плотных, дарующих путь и судьбу, нить, связующая свет солнца-Шемт

и тень земли-Эрдхе. Когда мы отпеваем старый месяц и выпеваем, поднимаем новый, – это как вдох и выдох Владычицы. Исчезает одна небесная лампа, возгорается другая, и они едины в том, что суть одно и то же небесное тело. И сама здешняя Сэрран – только бледный отблеск настоящей.

...Как теперь вижу ряды мунков на пологих ветвях; сукки ложатся у корней, больше прежнего сгорбясь и уставив клыки в землю; кхонды, сомкнув гигантский круг, поднимают морды к небу и ведут тягучую мелодию, что подобно морозному узору ложится на серебряный поднос, мелодию, голубую, как ветер с дальних вершин. Она трепещет, как былинка на пустоши, будто одинокий колос посреди сжатого поля. Голоса слиты с колючим запахом звезд, свиты в клубок, прядут из себя легкую нить, которая поднимается все выше, как паутинка на летнем ветру, – и ниспадает оттуда ответный луч, блестящий и острый, подобный стальному веретену. В многозвучии тихих и тайных природных голосов каждый Живущий ведет свою мелодию, и из всех них Триада сплетает восходящую нить, наматывает на небесное веретено. Многолика и едина жизнь; в глубине ее невидимо для нас бьется, пульсирует кровеносною жилой Путь; улови его лад, усвой его такт, поют голоса. Вознеси к небу так высоко, чтобы стократы отразился он от бубна Сэрран, и прими низведенное. Так обновляется Путь – Путь, начертанный прежде всех времен; Путь – это то, что предопределено; и Путь – это свобода в слепом хаосе смертей и рождений.

Вдруг вступает мощный хор, неведомая сила поднимает кверху широкую вязь переплетенных голосов, как венок – приношение Владычице. Знак благодарения, символ торжества. Еле слышно тянут свое монотонное «у-у» обезьяны, ритмично взреывают кабаны, будто сердце их изнутри ударяет в барабан грудной клетки. Ложатся поверх всего густого пения светлые подголоски малых детишек, которые нарочно позабыли сегодня уснуть или, может быть, проснулись в тихом восторге.

И я тоже пою – голос мой, не узнаваемый, незнаемый мною самой, повисает, как струна над бездной, выше всех иных мелодий, клинком рассекает мне грудь. Как ночной прилив, вздымаются и опадают голоса, и – голубой небесный зрачок – луна светит вглубь каждого отверстого сердца.

Что происходило потом, как серебряная нить, уловленная кхондами, вплеталась в кудель лесной пряжи, как этот ручей вливался в противоточную реку и доходил до истока?

Я поняла, что «Краткоживущие», «Живущие одним рас­судком», «Живущие-без-разума», «Быстро»– и «Медленно-живущие», иначе говоря, все виды и градации лесной фауны и флоры, весь гомеостаз мелких зверюшек, зверей крупных телом, но, так сказать, вечных младенцев (такими были змеи, лани, медведи), деревьев, мхов, кустов и трав, водяных жучков и земляных червей прекрасно существовал сам по себе и легко обходился без нас, «Высоко-живущих». Но только до поры до времени. Начиналось как бы повсеместное

увядание, угасание жизненного импульса; равновесие расшатывалось, уходили с арены самые сложные и прекрасные виды, которые могли бы дорасти до умственной зрелости, уступая место жадно плодящимся хищникам – не обязательно мясоедам, хищным было их безоглядное и жадное стремление выжить любой ценой. Половодье жизни сменялось кишением. В конце концов вся живая природа, измельчав до предела, становилась «у врат камня», на пороге самой низшей и медлительной из жизней, которую иная, не кхондская, культура сочла бы прямой гибелью. Но Триада непрестанно похищала этот импульс, низводила Прометеев огонь, как бы разжигая изнутри, раскачивая великую природную систему систем в ритме ее собственных колебаний, но шире, мощнее, богаче; насыщая мелодией полной луны, дабы ее возродить. То немногое, что Триада брала из возрождаемого, из произращенного природой великолепия, было ее платой, которую Лес давал ей без насилия над собой; оттого и труд ее Живущих был не в поте лица, а в радости.

Мы бродили рядом с окраиной наших владений, и я, пользуясь удобным случаем, расспрашивала Арккху о других существах Леса... Имея в виду вообще «других».

– Ты же видела их. Они, может быть, кажутся тебе глупее нас, но только потому, что это вечные дети. Дети ведь так же смышлены, как и взрослые; только, может быть, более скрытны.

– Странно, я полагала, что наоборот. Ах, ты же имеешь в

виду – они живут в игре и хитрят, чтобы не прилагать усилий, подобных вашим.

Арккха покачал головой:

– Ты права отчасти. Все Живущие трудятся, низводя Путь, но даже мы, кхонды, не всегда достаточно прозорливы и не всегда отваживаемся судить, в чем именно заключается этот их труд.

– Что делают андры, Вождь?

– Ты слышала, конечно: как же не слышать. Это темнокожее племя не из Леса – соседи наши. Сказать о них можно многое. В чем-то они сходны с тобой и Сереной, но это внешняя, наружная близость двух сосудов, в которые налиты различные благовония. Они стоят во главе своей триады, только связь внутри нее как бы недоразвита, и поэтому они не умеют добывать Свет. Андры живут на земле почти как мы, но у них на ногах – невидимые корни, которые мешают кочевью. Оттого они часто сбиваются в одно тесное место, где лезут друг другу на головы. Может быть, от такой тесноты они делаются яростны, как их гульливая вода, что отбивает у Живущего последний разум. Инсаны вон не пьют такую.

– А это кто еще?

– Вроде как белокожие андры и хозяева андров смуглых. Мы знаем о них куда меньше, чем о соседних племенах, да и то, что известно, вызывает удивление. Земля их как бы дышит непредсказуемым изменением в отличие от привычной для нас.

Эта характеристика показалась мне абстрактной – почему знать, что считают привычным для себя мои кхонды? Времена года тут все-таки имеются. И я перевела разговор на другое:

– Андры и инсаны похожи на Больших Мунков?

Это племя я видела издали и мельком, когда его Живущие привозили нам кузнечное и ювелирное сырье, главным образом – железо и бронзу в слитках. (Самородные металлы наши малютки умели добыть и сами, правда, в небольших количествах.) Могучие, сутулые фигуры, крепко стоящие на ногах, но с кулаками, висящими едва не ниже колен, – такими я их запомнила: пристально разглядывать постеснялась. Не нуждались они ни в помощи, ни в пристальном любопытстве. Бугры мускулов, плоские лбы под черной щеткой волос, широченные волосатые плечи и тонкая талия. Глаза под навесом бровей кажутся невелики, но берут тебя крепко и держат за самую душу. Попервоначально мне никак не удавалось отличить мужчину от женщины: последние были немного стройнее, тоньше костью, однако почти так же сильны и обладали той же нечеловечески (или не-кхондски) быстрой реакцией. Мышцы одевали их кованым доспехом, который, казалось, и стрела не пробьет, делали похожими на спешившихся рыцарей. Еще одно сбивало меня: оба пола носили косы, довольно странные, как бы прилипшие к спине...

– А, **Мунки-Хаа**, – повторил мой собеседник.

Так звучало это наименование по-кхондски, и явственно

веяло от него болотной прелью.

– Живут ото всех на особицу, ходят к нам ради торговли, к андрам – чтобы на них работать. Это мастера железа, которое они добывают из своих топей, и хозяева рудных жил. Они совсем другие, чем андры, но и нашим мункам перестали быть родней.

– Перестали – значит, были, Арккха? Кому же они родственны – андрам, инсанам или племени ювелиров?

Но он то ли хотел скрыть от меня нечто, то ли, при всем своем умении мгновенно схватывать чужую мысль, в упор не видел отличия обезьяны от человека. А, может быть, и не было в этой земле сходных понятий.

– Если все Живущие, как говорят древние, из одного корня, то они – родичи и тебе, и мне, и андрам, и еще многим племенам. Только вот легенда о Первоживущем – оно и есть легенда, Татхи-Йони!

Значит, разные племена. Замкнутые в себе «изоляты»?

– Арккха, прости, что докучаю, но не доходит до меня, что же такое, по-вашему, «племя». Браки между ними бывали?

– На этом запрет. Дети выходят скверные видом. Не всегда, однако.

– Значит, бывали. Иначе что же и запрещать, верно?

Фу, и снова не поймешь. По-рутенски, от скотоложества вообще потомства не выйдет, и плевать, разумен данный конкретный «скот» или нет. Несовместимость различных видов. Ну и что теперь: племя – это малая народность или

биологический вид? Может быть, раса?

– Любопытно мне, каково хорошее видом потомство от перекрестных союзов. Имею в виду – долголетнее, здоровое и красивое.

– Живут они, по-моему, долго, если андры позволят. Среди наших племен такого я не видел – мы все три разные, нас друг к другу и не тянет. Знаю помесей андров и мунков, какие бродят сами по себе вдоль границы – облика совсем непонятного. Андра и инсанки... Кхонда и кауранга...

Каурангами называли кого-то вроде беспризорных собак.

– У рутенских племен дети могут возникнуть только внутри большого племенного союза. Мы называем это огромное племя «человечество», и оно, единственное из всех, имеет сотни форм, различных цветом кожи, видом волос, формой головы, чертами лица – настолько, что кое-какие племена по невежеству и человеками... людьми вначале не считали.

– Такого у нас не бывало. Мунк не хуже инсана, однако же не инсан. И сукк не побежит вровень с длинногривым альфарисом.

– Есть ли связь между запретом иметь детей и невозможностью этого? И какая?

– Татхи моя милая, ты просишь у меня такого, что должно идти из губ прямо в ухо. От сердца кхонда к душе кхонда. То есть сверхтайного.

– А кто, по-твоему, я – кхонд или рутенка?

– Ты любишь вспоминать о своем рутенстве, а зря. Вы с

Сереной – прямые кхонды. Я тогда еще это понял, когда твоя дочь и мой сын мирно поделили твое молоко.

(Чтобы во всей полноте оценить эту мысль, вспомните, что говаривал святой Августин о греховности младенцев, о соперничестве, которое начинается еще у материнских сосцов. Как, или вы не читали его «Исповеди»?)

– Вы не андры, не инсаны, а на Болотных Мунков и по-давно не похожи, – продолжал Арккха.

Я рассмеялась:

– Спасибо, что хоть кого-нибудь из четвероногих и мохнатых не приплел. Хотя бы я не отказалась так, как вы все, чують застывшую жизнь и возрождать ее. Лепить, как воск. Так, как мунки-хаа, мне кажется, лепят бронзу больших сосудов, ногтем процарапывая узор в еще горячем металле...

И как раз в этот момент наибольшей моей мысленной дерзости огромная стрекочущая тень легла на верхушки сосен и скользнула по цветистой поляне.

Никакой мистики. То был легко узнаваемый вертолет примерно того же типа, что рутенские, пятнисто-защитный («нет цвета грязней, чем цвет хаки», пели во времена той моей жизни), пухлобокий, с желтой эмблемой в виде стилизованного «цветка пламени» с лепестками, отогнутыми в одну сторону.

– Фашисты, – почему-то пробормотала я.

– Да нет, кишка у них тонка, – Арккха понял не мое слово, но его негативную раскраску (красно-коричневую, как у нас

говорится). – Нахалы. Они имеют право шастать по приграничью и пустым воздушным коридорам, но вовсе не стричь воздух прямо над нашими скальпами. Почуяли свой час, вот что я вижу... Ладно, скажу я тебе самое главное, много важнее того, что ты пока знала о Болотных Кузнецах. Кузнецы – они кочуют по цепи болот вокруг Заповедного Леса, Леса-Первойца, где нет – по договору – ничьей власти, даже их. Таков их закон – не иметь ничего своего, даже земли для кочевья (как у цыган, подумала я), но все одалживать. Ведь болота – наше владение, как и лес, как и старое дерево для передвижных домиков на полозьях и гнезд в расщелинах стволов, и мунки-хаа исправно платят нам, хотя и мы не таковы, чтобы требовать плату за то, что нам не нужно. Но вот у андров они тоже кое-чем одалживаются, однако вид у них от природы гордый, вот андры их не больно-то и жалуют. Посему по этому Триада понимает в андрах куда больше, чем хотят и подозревают они сами.

– Сами андры постоянно воюют с инсанами, или нэсин, – говорил далее Арккха. – Побеждали то одни, то другие, но чаще нэсин одерживали верх, отдирали клочья шерсти андров, откусывали от андрской земли, всеобщей плоти этого племени, то один шматок, то другой. Мы держали середину в чужой игре (можно перевести как «стояли над схваткой», но с оттенком некоей ожидаемой прибыли от своего нейтралитета), и в нашем спокойствии были заинтересованы обе стороны.

– Хм. Хотела бы я знать, каковы были бы шансы победить у той стороны, против которой выступил бы Лес.

Вождь продолжал, никак не взирая на мою лесть:

– Поэтому мы заключили договор и с андрами, и с нэсин, чтобы им не пересекать болот и держаться полосы ничейной земли, которая идет вдоль Леса и вдоль болот, каждому народу – своей половины. Андры обожают охоту и золото; инсаны же любят острую боевую сталь, вороную и синюю, белое серебро и звенящую бронзу, а к желтому металлу и к охоте почти равнодушны. Но и те, и другие одинаково находят для себя радость внутри отчужденных земель... Я думаю, оба племени догадываются, что Лес – кладезь и источник их собственного существования, их силы. Андрам это нелестно, вот они и злобятся на нас. Еще и нэсин не так давно снова и прочно взяли над ними верх, повязали клятвой, которой андры тяготятся; такое тоже не прибавляет благости. Разумеется, и те, и другие видят в нашей Триаде союзника – их воля, их видение! Потому андры и обязались наблюдать сверху за тем, чтобы у нас не случилось пожаров. В то время для нас это еще было самой трудной из задач, не то что теперь. Не видела, как мы вытесняем огонь наверх, чтобы не губил молодую поросль и не углублялся в торфяники? А там с ним легко разделяется дождь, который мы можем наколдовать Дневной Песней.

– Так вы еще и для того подводите глубинные воды близко к коже земли, чтобы торфяники не обратились в порошок, –

тихонько пробормотала я. Не стоило напрягать его уши: насчет пороха мой Вождь мог и не уразуметь.

– А что такое Дневная Песня? Совсем иное, чем ночная? Я ее не слышала.

– И не приведи тебя услышать. От нее сотрясаются не одни только тучи – самые могучие кедры ломаются, точно спицы, а в душе Живущих поселяется смертельная тревога.

Ультразвук, что ли, прикинула я. Возьмем на заметку, однако.

– Так что мы, вообще-то, можем обойтись и без андрской подмоги. К тому же, как ты видела, они ведут себя не так чтобы совсем честно. Слоняются уже надо всем внешним кольцом, даже для формы не спрашивая своих хозяев – ну, это их внутренние счета. Простого костра порой не дают разжечь – обрушивают на него потоки непонятной жидкости, от которой земля чернеет хуже, чем от самого сильного пожара, и тихая жизнь угнетается на десятилетия. Зачем? Выказать сугубую бдительность? Они не так скудоумны. Ссориться же с нами им пока невыгодно.

– И вроде бы не из-за того высокого смысла, который они прозрели в нашем существовании. Низменная прибыль есть тоже.

– Конечно, – Арккха сморщил нос. – Еда и лекарства: не так много, чтобы нам было трудно это обеспечить, и не самое редкостное, однако андры предназначают всё это своим вождям. У них же не как у нас; есть Живущие более ценимые

и так, мелюзга. Еще мы переправляем андрам кое-что из сырья – дерево, волокно, металлы, – чтобы они испортили его на свой излюбленный манер. Те прекрасные вещи, которые мы делаем себе на потребу, у них ценятся превыше всего, как говорится, прелесть натуральной природности; да шиш мы им дали.

– Вот бы не подумала. С моей точки зрения они выглядят – уж куда изощреннее. Слушай, а нам не стоит заняться легким саботажем андрских поставок на андрский же манер? Так сказать, наносить блошинные укусы, чтобы вразумить.

– Как-то непорядочно.

– Почему? Мы же не будем причинять настоящий вред, если продумать тактику, – одни неприятности, куда меньшие, чем они нам. Тонкий намек на наши толстые обстоятельства, как говорят в Рутении.

– Не обстоятельства, Татхи, а шкура у них толстовата: не поймут они твоей символики, только станут еще нахальнее. И без наших поставок они обойдутся, хоть и со скрипом. Будут есть больше мяса, растить траву и овощ на голом камне, крытом водой (методом гидропоники, перевела я) и лечиться неприродностью. У андров ведь тоже имеется вольная земля, только они ее насилуют вместо того, чтобы позволить ей зачать от любви.

– Тогда потребуйте отменить договор и написать иной, более точный: чисто торговый, скажем.

– Смысла нет. Андры пишут свои документы на такой бу-

маге, которую могут легко изгрызть мыши.

Это на языке Триады означало известную необязательность письменных договоров, а к тому же и абсолютную неправомерность устных соглашений.

– Значит, блюдут соглашение через силу, устраивают провокации, но совсем расторгнуть боятся, – подумала я вслух.

– И ведь как жаль огня! Раньше, не при тебе, Татхи, мы куда чаще устраивали любование.

Но все-таки делали и сейчас, и не внутри домов, как мои волки, не в глубине земли, как сукки, – посреди луга, подбирая для этого ясно горящие обломки, пропитанные легкими и душистыми смолами, – те, что до того, как поиграл с ними ветер, насытились солнечным светом. Любовь Триады к живому пламени, такая человеческая, не переставала восхищать меня своим бескорыстием и отвагой: последняя оказалась еще больше, чем я думала. Впрочем, я, наверное, подсознательно относилась к ним как к диким зверям, коим самой их натурой положено бояться огня. И ведь открытые костры вообще не были им нужны, так сказать, физически – но только ради их красоты. Пищу готовили на очаге, защищенном со всех сторон каменными плитами, у него же и обогревались.

Сколько раз, пасмурным или, напротив, сухим днем, звездной или глухой ночью наблюдала я, как крошка мунк быстро вращает в темных ладошках оперенную палочку или водит взад-вперед маленьким поперечным луком, а стрела

внутри лука крутится волчком. Огонь рождается из ничего – малая земная звездочка, лукавый глаз посреди многоочитой Вселенной. Скачет с сучка на сучок, с поленца на поленце, захватывая их все шире и шире, оживляя мертвое на краткий и торжественный миг. И вот уже гудит, поет басовито и бархатно, потрескивает и свистит диковинными обертонами – музыка, гимн своей краткой жизни, своему сотворению и приручению. Шипят, постреливают и гаснут вне костра угольки, а племена Триады сидят кругом него, точно это полуночная молитва. Но куда веселей, живее блещут глаза и ожерелья, перелетают от одного к другому реплики, кое-кто лакомится хрустким яблоком или со вкусом грызет сладкий корень шестидольной лесной моркови, а то и ловит разомлевших, неповоротливых блох, выпевая шутейные заговоры... И всё-таки они по-прежнему заморожены, так же, как и в полнолуние, тихо замерло в своей глубине каждое сердце...

– Вот уж не знаю, как нам усть этих проклятущих андров, – сказала я шутливо, – чтобы не мешали жить. Может быть, засунуть их ненадолго в нашу шкуру – только сначала самим побывать в их собственной. Вдруг они окажутся не так уж плохи.

– Насчет последнего ты права, – хмыкнул Вождь. – Знал я одного-двух андров, которые приходили сюда с честными словами, нарисованными хорошим почерком и на прочной бумаге. А насчет двух первых твоих предложений – вот, по-

слушай сказочку.

«Когда видимый мир был еще размером в собачий нос и таким же влажным, а первые сутки еще не сошли с ткацкого стана, Бог уже придумал для него всех насельников: они были размером с пылинку, но очень бойкие. Были там и волки, и обезьяны, и лошади, и вепри, и разные птицы и змеи, и много кого еще, но самыми верными друзьями Ему были Двенадцать племенных родоначальников. И тогда же Он сделал андра и дал ему, по его просьбе и чтобы потешить его гордость, высокое назначение – быть связью между Ним Самим и миром Живущих. А чтобы андр мог учиться властвовать, дал ему Бог срок бытия, в двенадцать раз больший, чем у других существ с теплой кровью. Но к тому же Он дал андру способность провидеть будущее. И вот андр воспротивился: «Долголетие – такого дара я у тебя не просил! Прожить на здешней планете весело можно лишь, если жизнь не больше, чем у моих слуг из числа Двенадцати – тогда она насыщена, разнообразна и я могу придать ей изящное завершение. (Видишь ли, он был не совсем дурак, этот андр, в нем шевелилась некая поэтическая жилка, и он мыслил свое существование как произведение тонкого ремесла.) А лучшее в ней благо – это многочисленное потомство, которое разнообразит мои таланты, унаследует мою высокую игру, а у бессмертного меня – детишек много не получится!»

«Игру – но твою ли? – переспросил Бог, однако не дождал-

ся ответа. – Ладно-хорошо, пусть будет по-твоему. Я отбавлю от тебя и отдам Двенадцати, разделив между ними по справедливости, поровну, чтобы все вы уходили на ту сторону одновременно.»

Только позавидовал андр своим собратьям через очень малое время: жизнь их была полна невзгод, но и радостна, и от этого рождалось у них много детей – и даже не в двенадцать раз, а гораздо больше, чем у андра. Над бедами своими они сокрушались меньше, выдумывали смысл своей жизни как-то походя, плодились безо всякой задней мысли о своем высочайшем предназначении, а смерть виделась им просто как покойный сон в вечном лесу. Андр же на последнем пороге испугался не столько смерти, сколько своей жизни, которая показалась ему лишенной чаемого изящества и высокого смысла, и возопил Господу: «Верни мне хоть что-то из других моих жизней, ибо я еще не готов уйти!»

«Разве не одарил Я тебя вполне супругами и потомством, земными благами и земной славой? – спросил Бог. – Чего же ты не успел еще получить и чем недоволен?»

«Всем я здесь доволен и прежде всего – самим собой, – ответил андр. – Но это все останется по эту сторону бытия, когда я уйду на ту, и мне стало жалко».

«Как же я сделаю то, что тебе надобно: твои подначальные тоже порядком поистратились и подвели итог всему своему здешнему имению. Одно у них осталось – бесстрашие перед лицом последнего расчета. Может быть, именно этим их бо-

гатством тебя удовлетворить – как решишь?»

«Нет-нет, это не по правилам, – возразил андр. – Чужого мне ничего не надо, тем более – храбрости. Если Тебе будет так угодно, отними для меня от жизней их потомства, вон его сколько, будто гальки на берегу морском. Ручаюсь, они и не почувствуют. Или иначе как-нибудь – Тебе виднее, Ты ж ведь у меня Всемогуший!»

А нужно сказать, что наш андр потратил свои годы куда расточительней, чем его собратья. Он постановил испытать на себе все страсти: тягу к женщине и дурману, буйство, гнев и гордость, – Двенадцать же далеко еще не смотали нить с клубка своей судьбы, хотя и были так мудры, что избавили свою жизнь от сиюминутных усад. И теперь его светоч мигал и копотно чадил, тогда как их пламя стояло ровно. Этого Бог не сказал андру, чтобы испытать его.

И вот получил наш андр в довесок еще двенадцать коротеньких, как бы детских и незрелых жизней, а откуда Великий их взял – не столь важно. Выглядели они как круглые полупрозрачные пилюльки или мыльные пузырьки. Смешал их андр в одной большой чаше с вином и выпил...»

Тут Арккха сделал очень выразительную паузу.

«Но зря он пожадничал, стоило бы сначала попробовать каждую жизнь в отдельности. Потому что сразу сделался он жадным, как пес, и задиристым, точно волк на своем первом гоне, болтливым и взбалмошным, как макака, и грубым,

как горилла, похотливым, как жеребец, тупым, как старая кобыла, раздражительным, точно кошка-манкатта, и гневливым, будто кабан. Его стало невозможно приручить, как дикую пантеру, и поэтому он вынужден был идти по жизни одиноко, словно... словно оборотень-вервульф. И к тому же он, как ты понимаешь, оставался далеко не лучшим в мире андром!»

– Ты не перебрал всех двенадцати знаков вашего зодиака, – перебила я.

Арккха понял, что такое зодиак (звериные символы месяцев года, посвященного Владычице Приливов), я же сравнительно легко угадала за фигурами геральдических зверей вполне конкретных здешних Живущих – но, разумеется, не всех.

– Ну, само число не очень важно: двенадцать – красивая цифра, а я, может быть, и подзабыл кое-кого по старости.

«Так что сделался андр таким, каким всегда хотел быть, и шибко это ему докучало. «Это не я живу, а мои грехи, – снова возопиял он. – Не надо мне, Господи, такого счастья! Забери от меня эти годы назад и приткни куда знаешь, и пускай я от того хоть совсем подохну!»

«Ладно-хорошо, – ответил Бог снова. – Так и быть, учту я твои трудности. Только заруби себе на носу: больше переделывать тебе жизнь и кантовать время взад-вперед Я не на-

мерен. Я же его в виде стрелы задумал».

И вот стали андры жить столько, сколько сами пожелали: не более других Высоких Живущих, но и не менее. Однако их прародитель позабыл о тех болезнях, которые подхватил вместе с чужими жизнями, а ему о том никто не напомнил. У Двенадцати же поубавились их коренные недостатки; те годы, что оказались на подержании у андра и сделали полный оборот от них к андру и обратно, насытились андрским точным разумением, что приложилось к естественному, природному уму иных Живущих. В награду же за щедрость и уступчивость (потому что Бог, разумеется, спросил у них, не уделят ли частицы своих лет андру) стали Двенадцать тоже блюсти мост между верхним и нижним, близким и дальним мирами.

И разгневался андр, и разбилась дружба его с жителями Леса и Степи, Гор и Низин во веки веков».

– Занятная легенда. Рутены тоже ее знают, только там человек так и остается со своими ветхими животными жизнями.

– И существует дольше других?

– Смотря кого, Арккха. Слоны, например, живут лет этак сто, наверное. Черепахи... Гигантские змеи...

Не напрасно я вспомнила именно о них. В Лесу тоже было кое-что в этом роде.

Какое-то время спустя после нашего с Арккхой эпохального разговора часть Триады покинула ласковые широколиственные рощи, которые были подобны островам в темном океане прекрасно-хвойного Извечного Леса, и внедрилась в самое его сердце. Здесь не ощущалось ни извечного дружелюбия ручной природы, ни враждебности рутенской вековой тайги или пармы. Просто высились гигантские стволы, смыкающиеся далеко вверху подобно готическим сводам, их ветви были нам вместо неба, и я казалась себе ребенком, потерянным в храме, монахиней в поисках нирваны, безразличной в своей благодати. Наши голоса звучали внутри этого бора отстраненно и престранно. По пути мы собирали не крупную горьковато-кислую ягоду, отыскивали грибы и корни – плотные, суховатые и тоже как бы не привыкшие к рукам. Когда Вождь отыскал известное ему лесное озеро, неглубокое, но спокойное и чистое, как и все здешние водоемы, и заросшее сизым куржавником, мы наскоро собрали дома и даже не стали разгружать волокуши – сгрудили их на площадке посреди нового селения. Взрослые разошлись по хижинам – гнезд тут вообще не было, а норы и ямы принадлежали во все не кабанам – разожгли костры и занялись чем-то, на мой взгляд, подобным медитации. Ребятишки не поддались общему настроению. Воду они любили никак не меньше пламени и сейчас же высыпали на песчаный берег, полезли на мелководье. Мои двое детенышей тоже оказались там.

– Это не опасно? – спросила я у Хейни, одной из моих

«соматерей» – родственник по сыну. – Не боишься, что утонут?

– В водах Светлого Леса бывало и опаснее, – она презрительно вздернула губу. – Ты разве не знаешь о Хранительнице?

Я постеснялась расспросить ее подробнее: в этот момент наши отпрыски разорвали целомудренную тишину такими воплями, визгом и лаем, что она перебила себя крепким словом и бросилась к другим нянькам – унимать чад. Я решила, что спрошу при случае Арккху, который вместе с кое-кем из пожилых кхондов отлучился для осмотра и разметки границ; крепче уселась на пороге и тоже попыталась думать, ибо для того мы и прибыли в это странное место. Но единственная мысль, которая пришла мне в голову, была о куржавнике. Так я назвала ветвистую, с беловатым налетом траву, которая пахла полынью. Через несколько дней созреют прямо под листом крепкие и терпкие ягоды, мунки соберут их, и я буду помогать им прокалывать кожуру специальным стальным шильцем, чтобы сварить варенье... По тем ли ягодам, похожим на крыжовник моего детства, назвала я куст или из-за того, что налет на прихотливо изрезанных листьях напоминал мне куржевину, иней, совсем неизвестный в этом краю постоянного тепла? Куржавник... Я так задумалась, что почти не обратила внимания на Вождя, который вернулся из короткой экспедиции будто бы в ответ на мою невысказанную надобность в нем и теперь подремывал

у моих ног, чуть всхрапывая.

Вдруг озерная гладь в просвете между кустами возмутилась, пошла складками, точно шелк, прилипший к утюгу, и стала дыбом. Живущие выглядывали из хижин, мамушки кричали что-то неразборчиво-возмущенное, а вся детва с восторженным кличем ринулась к водяной горе и окунулась в озеро – кто по грудь, кто по шейку.

– Это ж они Большую Озерную Коату потревожили, – мой Арккха напрягся и вскочил, глядя в ту сторону. – Вот паршивцы-то!

Коата, или, попросту, водяная змея с жабрами, которые цветком раскрывались у нее по бокам головы, что делало ее похожей на ушастую ящерицу, – вечно сонное, апатичное и до крайности миролюбивое существо, была такой неотъемлемой принадлежностью проточных озер, что я как-то о сем забыла. Она обитала на дне, в полнейшей прострации заглатывая тину, водоросли, цвель и совершенно безмозглых рачков. Вода, пропущенная через дыхательные раковины, становилась особенно чистой и свежей – так угадывали, обитает ли в ней Сонливка (Хранительницами их никто на моей памяти не именовал). Изредка она просыпалась и подходила ближе к поверхности, чтобы выметать на свету икру. Один из тысячи зародышей, созревших до размера крупной черной жемчужины, прошедших через пороги подземных ручьев, блеск рудных жил и вулканический жар, находил себе водную обитель и, выросши, становился таким же чудом

света, способным к партеногенезу, как и его родительница. Поговаривали, что коаты способны не только очищать водоемы, в которых поселяются, но и создавать новые, выводя на поверхность земли притоки потаенных рек и заполняя ими провалы в земле, малые низменности и кратеры погасших вулканов.

Здесьнюю коату, похоже, допекли не на шутку – у нее явно были если не уши (что никак не вписывалось в мое рутенское представление о змеях), то особо чувствительная к звуковым вибрациям кожа. Она взмыла на поверхность посреди толпы, раскидала пришельцев и начала хлестать гибким туловом направо и налево, разбрызгивая воду и стократно увеличивая писк, верещание и абсолютный щенячий восторг. Была она хороша на диво: голубоватая с малахитово-зелеными полосами и пятнами, в латной чешуе и с темно-пурпурным гребнем вдоль всей видимой части тела, а жабры ее отливали жемчугом и перламутром сразу.

И тут я увидела свое двуногое чадо. Во время подъятия хтонического зверя она каким-то образом оказалась не на ножках, а на плаву и теперь висела на нем живой серьгой, едва цепляясь за широкую скользкую шею.

– Мама, это же Анна Конда, ее так зовут! Как амазонская анаконда, только куда ручнее, клянусь Великим Пернатым Кецалькоатлем ацтеков и атлантов! Жемчужный Дракон – и она меня изо всех выбрала!

На сих словах я, как понимаю, добежала, бросилась в во-

доворот, подхватила Серену в падении, съездила Артхангу мокрой пяткой по зубам, надавала всем деткам тумачков свободными конечностями...

И только на сухом берегу, отойдя от битвы, поняла, что вот оно – непредвиденное.

Вернее, то, чего не предвидела я, но, как я думаю теперь, отчасти срежиссировали кхонды, столкнув Серену с ожившим символом мудрости.

Откуда выплыло из моей дочери то, о чем я никогда с ней не говорила, то, что и мне самой было почти неизвестно? Нет, я была слепа в своих домыслах, сильнее – в предвидении, в интуиции, которой не давала ходу. Серена – гений... Какая мать не постесняется сказать это о своем ребенке? Но если это не похвала, а знак и признание инаковости – тогда что?

Так я вошла в новый виток познания, ощутив, наконец, что значит родить дитя в мир, насквозь пронизанный мысленными нитями. В теле Серены, которое было внешне ограничено одним моим вместилищем, одной моей – человеческой – генетикой, всё казалось мне понятным и легко описываемым. Но ее сознание изначально было открыто всем ветрам, бодрствовало, подобно негасимой лампаде, а новая земля, земля Леса, не позволила ей потерять родовую, клеточную память, научила чтению скрытого. «Главное ремесло» кхондов, которое так и осталось для меня непостижимым, типично триадное воспитание, которому я не могла ни

помешать, ни помочь, соединяются с морем земного знания внутри самой Серены – и происходит чудо.

Запись третья

Чудо – непредсказуемое и недоказуемое совмещение двух квазиреальностей с различными системами закономерностей.

Драма и проклятие Адамова семени: человеческих детей приходится учить родовому знанию – они появляются на свет глупцами. Постепенно это перестали ощущать как беду: ведь с тех давних пор добытое с помощью рассудка до того разрослось, что все равно не вмещается ни в один конкретный мозг. Молодые животные, наоборот, рождаются интуитивно знающими, хотя объем такого знания невелик. Но ведь в Серене человеческое соединилось с животным!

Кхонды угадали это лучше меня. Серену вовсе не нужно было обучать ничему рутенскому: она легко и органично впитывала все многочисленные культуры, из которых сложилось мое естество, мое «я», все то, что было в жизни моего рода, вереницы поколений, вбирающей в себя все более памяти (отцы, деды, прадеды, предки), сходящейся в одну точку к началу истории. Может быть – я домысливаю это – она помнила себя с начала зачатия, если не с того первого деления на две и четыре клетки, то с полного тайны момента, когда аура, Дух спускается на укрытый в лоне комков пло-

ти. И в этом даже не было ничего необыкновенного: почему мы так уверены, что другие младенцы не помнят, и смеемся над Сальвадором Дали, который утверждает о себе обратное? Возможно, эту пренатальную память стирает родовой шок, а Серена, стараниями мунков и кхондов, не испытала его, и ее сознание стояло в ней спокойно, как вода в чаше.

А потом началось обратное движение, когда моя дочь шагнула через порог своего бытия и пошла по нитям и сплетениям тех существований, которые обосновывали это бытие, по гигантской цепи человеческого родства, которой мы все повязаны. Ей должна была принадлежать вся – или почти вся – история человечества, стоило ей захотеть, но пока она из инстинктивной предосторожности держала это знание вдали от себя, иначе оно разорвало бы ей мозг... Или слишком страшным было бы для нее переступить иные пороги, пороги чужих рождений и смертей? Не знаю. Знали кхонды, и это они вечно побуждали ее раскрываться.

Потому что когда я, путаясь и мямля, выразила свое потрясающее открытие вербально, Арккха только кивнул, наморщив широкий лоб:

– Ты поняла верно, хотя – как грубо, топорно ты выражаешь свою мысль! Работа не ювелира, а молотобойца. Тебе многому еще придется учиться у нас, Татхи-Йони. Да, мы нарочно позвали сюда твое дитя, ибо только мы могли воспитать его таким необыкновенным.

– Выходит, вся ваша непонятная авантюра затеяна только

ради Серены? Арту нашлась бы и другая нянька.

– Нет, – сказал он раздумчиво. – Из-за тебя столько же, сколько из-за твоей дочери. Пойми! Ни для чего во вселенной нет иного варианта, кроме того, что воплощен! Остальное существует, но как видимость судьбы, видимость решения. Ведь это не Серена – ты стоишь между мирами, и через одну тебя в Лес влились мудрость и благодать твоего мира.

– Мудрость и благодать? Ох, вождь, ничего-то я не знаю из вашего мира, кроме Леса да еще вон того приграничного летуна; может быть, оттого мне кажется, будто Великая Рутения перед вами – ад перед раем.

– Вовне нас нет ни ада, ни рая, а только миры, которым мы сообщаем нашу окраску, – произнес Арккха еще более философски. – Почему ты полагаешь, будто одна Рутения, великая или малая, пришла сюда благодаря твоему посредству? Ты ведь сновидица, помнишь, я говорил тебе. Ну-ка, определи свою Рутению по достоинству!

– Старая, пыльная Вавилонская Библиотека, где на полках играет один-единственный солнечный луч, – стала я выдумывать, улыбаясь. – То, чего он коснется, оживает, если вообще может ожить бессмысленный набор букв и знаков. Но у Солнечного Дитяти – бесконечное время для игры, и оно отыщет на полках одну-единственную настоящую жизнь.

– Вот видишь!

Я не поняла ни того, что я сказала, ни того, что имел в виду Вождь.

– Пока я вижу только свой страх. Старина, знаешь, я начинаю бояться и вас, и за вас.

– Вот уж чего не надо! Никакого проку нет в том, чтобы пугаться. Особенно тогда, когда требуется укротитель.

Вскочил, обмел бока хвостом – и потрусил заново обходить дозором и размечать свои владения.

...Год от года мы кочевали все дальше от того приснопамятного места, где произошло мое внедрение в Лес, и хотя Триада двигалась по кругу, проходя мимо тех мест, что я уже знала, круг более и более расширялся и захватывал уже почти всю территорию Запретного, Запредельного Леса, области, куда не должна была ступить ничья чужая нога. Это был остров независимости, и его омывали, подобно волнам, ссоры и замирения двух неизвестных мне государств, которые без конца играли в вассала и сюзерена, поминутно меняясь ролями. После той стоянки на озере я стала замечать, что внутри нашей Триады происходит размежевание, наподобие той поляризации, которая происходит в клетке перед митозом. Старики всех трех племен, наш мозговой центр, постепенно собрались в диком, неприрученном бору. Как там выжить и чем питаться – они знали, да и нужно им было совсем чуть. Кхондские матери и невесты, суккские женщины с детишками и почти все мунки сели на землю, причем не так, как раньше, – когда как бы плотное ядро двигалось по периметру Леса, – а стараясь заселить всю нашу территорию.

Земле от этого приходилось нелегко, но хотя бы в обезьяньих гнездах стало попросторнее. Зато взрослые и почти взрослые Псы – мужчины и сукки соответственного пола отошли почти к самой полосе андрской охоты и укрепляли ее по своему разумению. Это наше сидение напоминало мне жизнь индейцев в резервации; хорошо хоть, моей семье оно почему-то не коснулось – мы обычно не уходили далеко от границы. Арккха знал, что одну меня с подростками легко при случае задвинуть вглубь Леса – это не целый лагерь перевозить.

Поэтому я развлекалась, узнавая новое о наших соседях. Как ни странно, огнестрельным оружием или чем-то подобным ему андры не обладали – и это при бесспорных успехах воздухоплавания и химии. Охотились, как можно было наблюдать, с луками или самострелами и верхом на фриссах – своем лошадином племени, входящем в их триаду. Каурангов тоже видела раз или два; бежали у стремени. Добыча им на моих глазах им не попадалась: мелкие Живущие были тут пуганые, не то что в глубине. Буферная зона, как я поняла, создавалась не просто для нашей защиты, но и как утеха, как возмещение для андров, которые по-прежнему, словно в детстве, играли в казаки-разбойники, но не друг с другом, а с теми, за которыми не признавали почти никакого разума.

Инсаны-нэсин не показывались нам на глаза почти никогда. Про них говорили, что своей земле они не вредят, закон запрещает им ломать ветки и рвать молодой лист, а если

охотятся, то не сами, а обучают соколов или – чаще – кошек. Первое не так уж и страшно для Леса: птицы и прочие полуразумные и без того не соблюдают закона, предписанного Триаде. Высокоразумные же кошки в большинстве своем слишком высокого о себе мнения, чтобы добывать себе пропитание, прислуживая двуногим. Они, как и кони-альфари-сы, состоят в инсанской триаде, и непонятно порой, кто там главный.

А мунки-хаа...

О них мне постоянно сообщали их вещи. Это они делали прочные и легкие цепочки для обезьяньих страховочных поясов, широкие листья ножей, клыки крюков, на которые вешали купола кхондских артельных котлов, теми же мастерами и в том же огне. Гнули мягкое голубоватое железо, не поддающееся ржавчине, обращали в жидкость и лили в форму хрупкое, зернисто-серое на изломе. В железных вещах, блеск которых, светлый и мягкий, напоминал о старом серебре, жила теплота огромных, надежных рук – еще не узнав, я уже любила их. Мастера слыли у нас тем, кем и любой кузнец, «коваль», «смит», железоделатель в рутенской вселенной: благими колдунами. Имя таким мужчинам было **Коваши**, и постепенно как мы, так и они сами стали прилагать его ко всей сильной половине племени.

Теперь большие мунки все чаще приходили к нам целыми семьями. Их мелкие родичи изладили было для них открытые повозки типа наших волокуш, чтобы дернины не обди-

рать, но сами они когда-то придумали себе настоящие домики на салазках, с окнами и двускатной крышей, и теперь показали их нам. Окрашены домики были не по-лесному броско, но извечный мункский вкус проявлялся в изысканности сочетаний: темно-синего и слоновой кости, пурпурно-фиолетового и лимонного, зеленоватого с кремовым. «Колдовство» коваши проявлялось в том, что стальные полозья не касались земли, а зависали примерно сантиметрах в сорока от нее. На воздушную подушку эта практически неощутимая левитация нисколько не походила, сопоставить ее с чем-либо кхондским я не умела. Один из моих приятелей, продвинутый молодой мунк по имени Лехос, попытался объяснить мне принцип:

– Эти скользуны над болотом вроде как намагничены. (Природный магнетизм Триада знала и умела использовать, однако старалась им не злоупотреблять и не создавать подобное ему искусственно.) – Нет, не они сплошь – внутри, в таких прочных колбах, налита замерзшая ртуть, которая не смеет растаять, и внутренний огонь, что заключен внутри любого металла, бежит по ней с невероятной легкостью и быстротой.

Сверхпроводимость, что ли? Моя школьная физика всегда пребывала в плачевном состоянии – то, что я обретала по ней четверки и пятерки, почти не влияло на мою внутреннюю антипатию и, можно так сказать, несозвучность предмету.

Приезжая на ярмарку, кузнецы выгружали свои изделия, выводили жен и детишек; я наблюдала издали, Серена и ее шайка-лейка крутились под самыми их ногами, благо если не под днищами домов-повозок, поддразнивала мункских детишек вдвое крупнее себя, но пока довольно нескладных. Детки жались к ногам своих мощных матерей: на этот раз их понаехало особенно много.

– Напоказ привезли. А робеют, однако, будущие *хозяева земной крови*, – съязвил мой давний приятель Раух.

– Вот как вы говорите? Рутенскую жидкую кровь почему-то также называют рудой, из-за рыжего, ржавого цвета, наверное.

– Знаешь, почему они так дружно со своих топей снялись?

– Потому же, почему и мы подошли к окраине. Андров заопасались.

– Ты думаешь, Татхи-Йони, эти молотобойцы умеют бороться кого-нибудь? Э, скажи другое: в последние месяцы андры больно часто повадились наведываться в болотные поселки по своим делам, вот коваши и хотят показать нам, своим старым приятелям, что ревновать не стоит. Явились будто не на торг, а в гости.

– С... заложниками, – я с трудом подобрала объяснение этому термину, причем не звуковое, а невесть чем воняющее. Раух понял.

– Это обычай не лесной – андрский; но мы о нем слышаны.

– Так зачем андры ходят к кузнецам?

– Должно быть, полюбили железо куда пуще прежнего, вот и хочется больше и больше. Вот интересно, на кого они хотят охотиться: на наших подопечных, на нас – а то вдруг и на самих нэсин?

Запись четвертая

*Крутится, вертится теодолит,
Крутится, вертится, лимбом скрипит,
Очень старательно градус даёт;
На две минуты он все-таки врёт.
Мир я ловлю в перекрестье стекла,
В нем что-то странное линза нашла:
В озере облако, в небе трава,
На траве дева – прикрыта едва.
Стройные ножки, высокая грудь,
Посреди юбочка – не заглянуть.
Мигом пленился я райской красой;
Жаль только очень, что вниз головой.
Ах, черно-белая кость домино,
Право где, лево – теперь все равно;
Чтоб притяжение преодолеть,
В открытый космос мне надо взлететь.
Крутится, вертится шарик земной,
Кружится истово над головой,
Кружится, ищет, где на небе стать,
Кавалер барышню учит летать.*

*Старинная студенческая песня геологоразведчиков
(исполняется во время полевой практики)*

Артханг и Серена тем временем росли, вытягивались к небу и солнышку. Он – худощавый, легкий, с подтянутым брюхом; теплые карие глаза, необычные для кхондов, придавали ему особое обаяние. Жаль, описать их в стихах и песнях было нелегко: серо-зеленые очи кхондских красавиц принято было сравнивать с живым нефритом, ягодой куржавника или холодной утренней звездой, бледно-голубые мужские напоминали поэтам стремительную, в молочных брызгах, реку, мечущий искры клинок, луч Владычицы Сэрран. А усилия бардов и скальдов нам требовались все чаще: когда мальчишки затевали между собой репетиции брачных состязаний, главная цель которых – показать себя перед избранницей в наидоблестнейшем свете, он почти никогда не проигрывал. Силен он был не так чтоб очень, однако гибок, увертлив, а уж хитер – неимоверно.

Центром этих шутейных состязаний почти всегда оказывалась моя Серена. Может быть, потому, что одна из всех своих сверстниц не могла стать чьей-то настоящей невестой и оттого легко подвергалась символическому истолкованию; или потому, что ухаживание за ней никого из мальчишек не обижало и не могло оскорбить во взрослом их будущем?

Во всяком случае, прямой и непосредственный смысл ее привлекательности становился очевиден не только для меня,

но и для кхондов, которые, я так думаю, постоянно сравнивали ее с теми андрскими женщинами, каких знали. Легкая на ногу, гладкокожая – тело ее, плотное и тугое, походило на смуглую гальку, прогретую солнцем, или на спелый плод. Волосы выгорели до того, что даже я стала забывать их природный оттенок. Глаза были мои, неопределенно-серые; вот только светлый блик, что у меня – и у всех рутенов – играет на радужке, застыл у нее прямо напротив черной бездны зрачка. Черты лица, скорее круглого, чем удлинненного, как у меня, были не вполне правильны, зато брови нешироки и изящны, как лук из рогов серны или двойной обвод над аркой мусульманского михраба. То ли она унаследовала мои черты, то ли нет: я основательно подзабыла себя молодую, а здесь, в Лесу, так и не завела зеркала, ни металлического, ни хрустального, и ни разу специально не гляделась в воду. Впрочем, она никогда не отразит верно: то темна, то подергивается рябью, и тогда даже старуха может показаться себе молоденькой...

В десять лет Серена вымахала мне по плечо, но дальше стала расти медленней. Однако фигурой она удалась не в меня, благополучно проскочив период долговязого и неуклюжего отрочества, жеребьачьих лодыжек и цыплячьей грудки. Будто сразу отлилась в форму человека, женщины – а потом лишь возрастала в размерах, почти не меняя пропорций.

Дитя-скороспелка. Да, вот так обстоят здешние дела, душалось мне. Мы, рутены, растем до зрелости, а потом сра-

зу начинаем умирать, будто пропуская время расцвета, теряя некую пружину, стержень – то главное, что поддерживает и обновляет нашу жизнь. Кое-кто из нас до самой поздней своей поры учится, совершенствуется духовно и умственно, достигая порою необычайных успехов, любит игру реальностей, смену событий, устремление к идеальной и невоплотимой цели. Такие люди прирастают талантом вплоть до самой своей смерти. Но кто знает – вдруг они тратят лишь потенциал, накопленный в детстве? Об этом много написано, многое служило сырьем для дискуссий, однако все диспутанты пытались объяснить явление исходя из того, что оно имеет быть и, следовательно, имеет быть нормой. Никто не пытался перевернуть проблему. Что, если сама норма аномальна? Если нечто пресекло естественное развитие жизни в самом начале, создавши плод-падалицу, ложную скороспелку с червоточиной и гнилью вместо жизненного стержня, полного семян? Рождаемся, живем, умираем, оставляя детей – а сами такие же безнадежные, вечные дети...

Нет, мои сын и дочь не таковы, думаю я. Они налились соком драгоценного кхондского знания, впитали в себя гармоничный мир, и он покоится в них, как змея-коата, свернутая в изумрудную спираль.

Еще я думаю: верно ли мое предыдущее измышление? Да, они оба быстро взрослеют – но, возможно, как животные, не как люди. А что, если медлительность человеческого детства – это всего-навсего слепая инерция жизни, инту-

итивно осознающей, но не желающей своего конца? Стремление природы продлить общий срок жизни за счет увеличения ее начального периода? Мы считаем, что раннее созревание и многоплодие влекут за собой досрочное увядание и старость. А если наоборот? Если подспудное, бессознательное чутье, предсказывающее смерть, подсказывает и выход из смерти? Пытается спасти человека, творя из него копии, оттиски, клоны? Что мы знаем о естественном сроке жизни, естественной смерти: может быть, и самая мирная кончина от старости – это насилие?

И тогда двенадцатилетняя зрелость вовсе не означает раннего старения...

Вот в это и упираются мои страхи. Судьба Серены.

Удивительные вопросы задает мне дитя, которое я соткала из своей собственной пряжи...

Или я сама себе их задаю, а у Серены – иные заботы. Внешне – совсем ребячьи, наивные:

– Ой, мама, из меня истечение.

(Испугалась, вижу, не очень, я трусила побольше.)

– Что, месячные? И кровь, наверное, чересчур яркая?

– Да нет. О том я тебе не говорила, само утряслось недели две назад. А теперь такое, что у племени рху-тин бывает тоже двенадцать раз и не имеет для себя слова, а у тамошних Живущих называется течка.

– Хм. Держись-ка подальше от кхондских носов, моя милая, а то как бы тому же Артику в башку не стукнуло. Или

другу его Ратше.

Рассмеялась:

– Меня Хнорк заранее выучил, как запах отбивать. Конечно, и так всем понятно, с чего барышня витает в гвоздичном облаке, но это понятие мозгов не затуманивает.

Упомянутая гвоздика имеет зонтичное соцветье, как бы круглую шапочку, составленную из мелких махровых розеток бархатисто-лилового тона, и пахнет не совсем так, как рутенская, зато еще сильнее. Обозначает в лесном быту примерно то же, что веночек, увясло девушки на выданье – в моем прежнем: та, что может стать твоей, если хорошенько попросишь, но до той поры – сугубый запрет.

А насчет Артханга я не зря опасаюсь. Мои с Арккхой дети заметно тяготеют друг к другу. Прошло то время, когда мое молоко соединяло их – теперь начало разделять. Молочное родство почиталось в Триаде крепче и внутриутробного: это служило естественным препятствием для заключения брака. Но с другой стороны, «сестра по груди» традиционно была для рыцарски настроенного Волка превыше всех женщин, а воспевание Благородной Дамы, все эти баллады, альбы и миннезанги – сами знаете, куда могут завести.

Увы, прошло время Арташкиных фразочек типа «вырасту – на маме женюсь, а если постареет – тогда на Серене». Или: «Я только той отзовусь на гоне, что на Серену будет похожа, как месяц на луну».

– Малыш, – говорю, – так ведь твоя сестренка и на гон не

выйдет. Она из другого племени.

– Она же кхонд! И ты тоже кхонд.

– Сердцем, одним сердцем, сын, – но не телом. И вообще вы моим молоком повязаны.

Это был крайний довод, с отчаяния. О том и сам Артхан не забывал, что никак не мешало ему предаваться мечтаниям.

– А если вы обе не кхондки, кто я тогда получаюсь с того вашего молока? Наполовину андр, на другую половину – инсан?

– Середка наполовинку.

Зря я тогда пошутила. Научной логики в его словах не было никакой, а вот в лингвистическом смысле он оказывался прав: в Триаде бытует выражение «впитать с молоком матери», в том смысле, что «впитать свою наследственность, кровь вместе с молоком». И вот Артик – о ужас! – затеял реветь, а кхондская малышня владеет этим умением виртуозно. Представьте себе нарочито негромкий и надрывный скулеж, который ввинчивается в уши аж до самого сердца – и тогда вы поймете мое состояние. Еле мы его тогда уняли...

И вот теперь, когда детки подросли, проблема встала с новой силой. Глядя на то, как они неразлучны: практически взрослая девушка и крупный поджарый волчий юнец, как поспешают у них в арьергарде их боевые друзья и подруги, братья, сестры, побратимы и подпевалы, как рождается малое кхондское племя внутри большого, – я пугалась. Нет, не ин-

цеста, не свального греха, но незнаемого, непонятного.

А это непонятное пристигло меня совсем с другой стороны и оказалось трогательным и слегка комичным.

Заявился ко мне однажды Арккха. Дом был наш общий, но последнее время он только и делал, что сновал по Лесу, и увидев его после полугода разлуки, я на мгновение удивилась, до чего он сдал, и не то чтобы телесно, нет: глаза как бы выгорели, сделались такие светлые и углубленные в себя...

Но мгновение пришло и ушло, потому что Арккха устроил мне форменную демонстрацию своих мужских красот и доблестей.

Нет-нет. В самом начале он почему-то подскочил вверх, пружинисто лег на передние лапы, будто щенок, что приглашает поиграть, и заюлил своим холеным, пышным хвостиком, которым можно было запросто сшибать с дерна низкие еловые ветки. Затем растянул пасть от уха до уха и осклабился так, что меня невольно оторопь взяла; блеснул в лицо своими гладкими темно-желтыми клыками, показал язык с черным пятном у самого корня и выдохнул что-то вроде «Ах, бхесподхобная!» Лег на пузо и стал ритмично елзить по напольному коврику, изображая высшую степень подобострастия. Я решила было, что его настиг острый приступ старческого маразма – но тут очень кстати вспомнилась мне любимая в детстве книжка о волках Фарли Моуэта, и меня осенило. Это же был типичный ритуал сватовства, какой проводят для женщины, что не соизволила выйти на гон, только вот

я до сих пор ни в чем подобном не участвовала – ни как подружка невесты, ни как сама не...

Час от часу не легче! Это ж он мне демонстрирует – мой раб навеки!

Теперь пошел второй акт драмы. Арккха собрал все конечности воедино, включая хвост, поднатужился и буквально прыгнул с земли – мне показалось, что он вот-вот вылетит в дымовое отверстие. Утвердился в боевой стойке: когти сжаты в комок, на прямых лапах чуть поигрывают сухие мышцы, голова вздернута, уши топориком, во взоре лихость и удалое веселье. Такого и седина не старит, а лишь обволакивает, будто лунным сиянием!

А что из зоба пахнет очень даже смрадно, так то не беда: у кхондов не принято обмениваться поцелуями.

– Татхи-Йони! Вот ты увидела, каков я. Стар и сед, но мужествен. И нет у меня жены, ибо ты лишь кормилица и воспитательница моих детей. (Ого, не одного Арта – и Серену сразу присвоил и подверстал к делу.) И хотя за глаза именуют тебя Матерью Кхондов (!!!), нет для тебя в этом прозвании должной чести. Счастлив и горд буду я называть тебя супругой, а прочие кхонды – наследницей моих мыслей.

– Ты думаешь, у нас еще могут быть щенятки? – спросила я в полушутку: верный способ скрыть смущение.

– Уж если тебе мало Артханга, и Куанда, и Рэхи, и Тхаммы, и Харта... и Серены, которая им всем хвоста натягивает, – то не знаю, как и угодить тебе.

– Так это не мне, я думала – тебе их еще надо, деток.

– А я вообще не о том, – Арккха устало шлепнулся на коврик и со скребом почесал шею когтями левой задней: так вкусно, что даже помочь захотелось. – Слушай, Татхи. Я не один думал, все старшие тоже. Моя доля – держать Круикхондов, а через это – Триаду вплоть до самой смерти. Сыновья мои молоды, и такая власть редко, очень редко достается сыну, Харту ли, Артхангу ли... Хотя, по правде, Арт – самый удачный из моих отпрысков. Однако ни он, ни прочие Волки не желают ни принимать от меня власть, ни ее оспаривать.

– И хвала судьбе. Царствуй.

– Не велика радость; и не те времена, чтобы тянуть до последнего. Я должен буду решить быстро. И самое простое – перед смертью вручить власть жене, как бы на сохранение.

– Ох. Ты что, чувствуешь ее в себе – твою смерть?

– Не чувствую – знаю. И легко рассчитать. Это уходит, как вода из надтреснутого кувшина, песок из двойной часовой раковины, и делаешься таким легким... Да ты не бойся чужого ухода, мы-то своего не страшимся. Коли за ним ничто, как говорят твои рутены, так нечего беспокоиться о пустом месте, а если нечто – так и совсем распрекрасно. Поговори-ка с дочерью, она и об этом знает побольше твоего, ей оно во всех щелочках сквозит и из-под всех швов проглядывает.

– А то погодишь, может? Ты, на мой взгляд, вовсе и не стар.

– Стар, милая моя Татхи, и не так стар, сколько предусмотрителен. Мне еще обучить тебя надо.

– Тогда если Артика временно? А меня при нем регентшей. Королевой-матерью.

Арккха узнал от меня некоторые обычаи земли Рутении и не удивился такому обороту.

– Артханг выбрал себе такую тропу, что она уведет его вдаль из Леса.

– А я и подавно чужачка.

– Ты-то? Да ближе нас у тебя нет никого; значит, и ты для нас как кровь из шейной артерии, как помысел в груди. Ты не такой кхонд, как мы, но говоришь на нашем языке. По душевному складу – из Лесного народа и умеешь Лесом дышать и думать; сумеешь и жить с Лесом внутри. Ты не черный андр, не белый инсан, но поймешь и их – только начни это уже завтра. В твоём распоряжении будут лучшие головы кхондов, искуснейшие руки мунков и вся сила кабанов. Самые лучшие друзья и советчики.

– Я и сама предпочла бы советовать Кругу, а не решать и властвовать на нём.

– Круг сам собой не соберётся – нужен голос, произносящий слово единения. А таких, кто любит решать и властвовать, ему не надо.

О чём-то схожем говорил мне Одиночный Турист в последнюю минуту. И ещё одно всплыло из подсознания, которое до сих пор мешало мне представить рядом с собой ко-

го-то, кроме...

Запись пятая

Одиночный Турист в своем странствии не должен быть обременен ни вещами, ни привязанностями, ни неисполнимыми обещаниями.

– Арккха, я имею право сама владеть своей волей?

– Ныне и всегда. Не для того, чтобы тебя связать, мы дали тебе еду и одежду, тепло и мудрость. Если бы мы пожелали обеспечить всем этим твое нынешнее согласие – то немного бы стоило наше добродейание.

– Тогда я согласна, Вождь. Послушай, а свадьба нам по чину полагается или как?

Он расхохотался. На лай это было все-таки очень похоже.

– Привереда ты, Татхи моя Йони. Будь постарше Серена – к ней бы посватался.

– Правда, что ли?

– Нет. Она не лесная, предназначение ее шире. Тоже выплывет из лесного яйца и пойдет дальше.

Вот распредсказался! А свадебного пира, жмотина, так и не устроил. И добро еще не принято было его отмечать. Конечно, частный случай брачного договора – не грандиозное бдение при новой луне, которое завершает брачный гон: тогда затевается пирушка для молодых кхондов, посиделки для юных кхондок, и песни, которые поднимаются в ноч-

ное небо с обеих сторон, нисколько не похожи на гимны. Но Арккха вообще удовлетворился тем, что объявил о своем союзе на очередном Кругу; как печать поставил на документе, который давно уже написан, отредактирован и только ждет подходящего часа. Однако, зная мою склонность к символам, поднес мне лично оригинальный свадебный букет: что-то вроде местной киви, которая смахивала не на фруктовую мышь, но на целого барсука в тонкой меховой шубке, а уж пахла – будто целая дачная грядка земляники в жаркий день!

Вот наши мунки зато отличились. Собственно, это я первая сочла нужным, оправдываясь обычаем «племени рху-тин», устроить для всего местного отделения Триады ритуальное поедание типично рутенского продукта. Спасло меня то, что подавляющее большинство наших завело привычку бродить в окрестностях, у кхондов начисто отсутствовала склонность делать из еды торжество (так что отщипнули по крошечке для уважения – и довольно), а главное – трудолюбие и ухватистость Серены. Мы уже раньше заимели полуавтоматическую земляную печь на суккский манер, обмазанную изнутри глиной и с хитроумным рычагом работы Коваши – чтобы ставить продукты вниз или лепить на стенку, не рискуя обжечься. Замесили огромную квашню на местном хмелю (пивные, винные и прочие дрожжи считались у нас аналогом рутенской «дури»), а потом устроили выпечку с одновременной раздачей всем желающим. Увозились и завозились до полусмерти, однако удовольствие доставили.

Так вот, где-то через неделю мой приятель Раух, седой, сгорбленный и юркий, подозвал меня мановеньем смуглого пальчика с длинным черным ногтем:

– Вот какое у меня к тебе дело, новобрачная. Ты нас почитила по-своему, и мы тебя, по твоему же обычаю, должны отдарить. У андров, говорят, тоже имеется похожий закон...

Я почтительно молчала.

– Ты ведь знаешь, что наши большие родичи снабжают Триаду грубой работой, а мы платим им нашей тонкой? Вот и в прошлый раз они привезли нам золото, волоченное и в прутках, и два камня. Просили сделать одно кольцо для них, одно – для нас и оставить в уплату то из двух, что больше приглянется...

– А теперь смотри, – он раскрыл сразу обе ладони.

На каждой лежала миниатюрная шкатулочка в виде грецкого или маньчжурского ореха. Крышки отскочили сами – так была устроена пружина. Внутри каждой коробочки было кольцо с камнем: то ли гранат-альмандин, то ли аметист очень глубокого тона. Однако стоило мне взять одно из них в руку – и пурпур, всколыхнувшись, обрел цвет Леса, королевской седой ели, листов куржавника после обильного дождя... Я вздохнула от восхищения и непонятного счастья.

– Это же идеальный александрит, Раух, а игра еще лучше, полнее, чем в нашем напоминании об императоре, почившем в бозе от руки народовольца. Ну, здесь это чудо, разумеется, носит другое имя, и окраска зависит не от време-

ни суток, а от одного, кажется, душевного настроя и расположения. Пожалуй, не к лицу никому из кхондов так перед другими красоваться.

– Кольца – мункская забава или андрская, – согласился он. – Разве нужна такая в Триаде кому-то, кроме тебя?

Оба перстня показались мне почти близнецами – уж камни безусловно повторяли друг друга формой и отчасти огранкой: яйцевидные «капли». Первое кольцо было скручено в виде жилистой виноградной лозы с разбросанными по ней усиками и листиками, а овальный камень, некое подобие фасеточного глаза насекомого, создавал полное впечатление ягод, собранных в гроздь: такую тугую, что иные ягоды сплющились по бокам. Общая картина являла собой диковинное сочетание тончайшего в проработке деталей, скрупулезного натурализма и фантастики, неуловимой для разума. Второе изображало змею-коату, обвившую палец совершенно тем же изгибом, что и сестра ее лоза; только вместо листвы были чешуйки, напоминающие перья птицы, плавники и полукружья жабер. В очах мудрость соединялась с почти детской наивностью, свирепость – с нежностью, и происходило так из-за того, что в длинных изогнутых клыках змея бережно несла свое яйцо – копию первого александрита. Ее камень был покрыт более мелкими, плоскими гранями и поставлен так, что казался ярче, а внутри него почему-то постоянно горела густо-алая искра.

– Выбирай, Татхи-Йони!

– А надо?

– Хоть скажи свое мнение. Уж это мне необходимо просто позарез.

– Теряюсь: оба сходны и различны в одно и то же время. Но виноград, хоть и не так красив, как-то ближе к сердцу прилежит, а змея – она чересчур живая, слишком богата внутри своего собственного сердца, чтобы служить безделкой. Так и кажется, что заберет твою душу за святотатство.

– У тебя душа инсана, – хмыкнул Раух. – Они считают, что изображать Умных Живущих слишком рискованно – те могут оказаться совсем иными, чем кажутся. Я думал о тебе, когда рисовал коату и выделял ее перья, но знал, что у нас останется другое кольцо, символ счастливого супружества. Вот, держи! Вы с Вождем заключили брак для чести, но, может быть, ты или твоя Серена обручитесь им взаправду.

Чиниться не приходилось – он бы просто не понял.

– А теперь, – продолжал Раух, пряча шкатулку со «змеёй», – послушай сказочку. Не один твой Арккха в этом силен, правда ведь?

– Камни эти привезены от нэсин, – заговорил он в слегка измененном тоне. – Удивительная там земля и отпугивает всех тех, кто на нее ступает. Можно войти в расщелину и внезапно оказаться на ледяной вершине, обдуваемой ветром, стать посреди моря песка и, глянув через плечо, увидеть прекрасный сад или величавый город. Ты сказала – мираж? (Я, кстати, не проронила ни звука.) Нет, настоящее. Поэто-

му-то андры, как ни воинственны, а испокон веку боялись встретиться с инсанами на их поле, даже когда спор с соседями был нужен самим андрам... Меняющиеся камни, так похожие на саму страну нэсин, большие мунки получили прямо из их рук в обмен на редкие добавки к рудам. Сталь у инсанов также отменная, и в услугах коваши они почти не нуждаются, не то что андры. Но это к слову... Такие изменчивые камни многого стоят, особенно парные: ведь их всегда называют глазами Снежных Волков. Кое-кто всерьез полагает, что Белые, умирая и истлевая телом, – в этом они такие же, как и все прочие Живущие, – оставляют после себя глаза, увидевшие слишком много для того, чтобы просто пойти прахом, и эти глаза усыхают и твердеют, делаются той нежизнью, из которой возникла вся жизнь. А еще говорят, что их дети рождаются слепыми и им вживляют глаза их предков – так, будто бы, передается родовая память их народа. И в такое еще верят, что глаза Белых, алые в свете костра, зеленые днем, голубые в свете полной луны, – видят скрытое. Этот дар, умение видеть в прошлом, проникать в суть вещей, всегда связан со знанием. Подобным камушкам и ты, и еще более – твоя Серена всегда найдете применение. Твоя дочь идет по жилам своей умершей крови вверх, к их общему истоку; а это ремесло родственно ремеслу Белых и такое же волшебное.

– И будущее она сумеет познать, Раух?

Мунк отрывисто хохотнул:

– Если оно спрячется в прошлом от излишне любопытных глаз и носов – о, конечно. Только есть иное будущее – возникшее или испрошенное вопреки закону. Его надо уметь сделать, и я не поручусь, что сил твоей дочки хватит на то, чтобы мять время как глину, как наши большие братья – металл. Угадывает его тот, кто хотя бы стоит поблизости от Великого Делания... Знаешь, ведь Кольца Всеведения умеют незаметно расширить душу Живого, и он способен объять все сущее, если сам не пытается ограничить себя своим родословием и историей своей родной земли. Ну, я заговорил совсем как кхонд – больно уж заковыристо!

– Это ведь не совсем сказка?

– Да. Только мы почти ничего не знаем о таинственных Белых Волках, даже того, родня ли они твоему племени, как андрские кауранги. По слухам, они сходят со своих гор во время метели или с лавинами и сеют семя своего потомства среди нэсин. И даже доблестные нэсин их недолюбливают и остерегаются, потому что когда Белые зовут, никто не может устоять перед их зовом. Никто! Они ведь оборотни, как и их троякие Камни Всеведения.

– Значит, у этих двух племен, инсанов и Снежных Волков, есть бесспорные дети – не легенда, а живая плоть. Каковы они, Раух?

– Ты еще спроси, каковы Белые. Познаешь, откуда свет, – познаешь и что он такое.

– Ну что же, Раух, благодарю вас всех за подарок.

– Не за что, Татхи-Йони. Когда свершится то, для чего предназначены оба кольца, тогда поймешь, стоило ли благодарить.

Глава III. Маргинальная

*Всю землю родиной считает человек —
Изгнанник только тот, кто в ней зарыт навек.*

Имруулькайс

*Брат... С тобою твоё добро —
Лошадь, очаг, ружьё.
Мой только древний голос земли,
Все остальное — твоё.
Ты оставляешь меня нагим
Бродить по дорогам земли.
Но я оставляю тебя — немым...
Ты понимаешь — немым!
И как ты станешь седлать коня,
Ружьё заряжать на лису,
И с чем ты будешь сидеть у огня,
Если песню я унесу?*

.....

*Дайте мне только палку.
Взамен я вам оставляю
Судейский парик и скипетр,
Монашій посох и зонт.
Дайте мне просто палку,
Простую палку бродяги —
И расстелите дорогу,
Ведущую за горизонт.*

*(Два стихотворения испанца по имени Леон Фелипе в
вольной переделке Царственного Бродяги)*

Мы с Арккхой продолжали жить одним домом, но с недавних пор он все больше времени проводил в своем собственном шалаше из тонких жердин. Я на правах «старшей половины» иногда навещала его: дети там не путались под ногами, и порядка было побольше, чем у меня, но явственная атмосфера кельи отшельника меня не так чтобы пленяла.

Разумеется, я показала ему кольцо-виноград, а поскольку мой Вождь был прагматичен куда более мунков, вывернула перед ним все их рассказы на просмотр и критику.

– Окаменевшие очи? Не знаю, не знаю: любой камень видится мне живым. Либо застывшей каплей земной крови, что течет в глубоких жилах ее рек, либо свернутым бутонem, зародышем иного бытия, нам здесь незнакомого. Не только конец, но и начало жизни.

– Училась я вашей философии, училась, муженек. Что-то последнее время я от вас слышу одни потусторонние премудрости. А для меня актуально то, что рутены зовут социологией и этнологией. Ты же меня втолкнул во вполне посюсторонние проблемы.

– Вот и решай. Силы у тебя предостаточно.

– Ох, и на что я тебе вообще сдалась, инопланетное пришей-кобыле-хвост! Я же чужачка была и ею останусь. Вот Серена – та, хоть и не до конца понятная, но насквозь своя.

Откуда ты взял, что уйдет?

– Кхонд, вставший на дыбки – вот и все, что она есть, и точка. Кхонд, чьи задатки рассмотрены в увеличительное стекло. Парадоксальный кхонд, вывернутый наизнанку.

– Ну... Боюсь думать.

– То-то, что боишься. Видишь – и робеешь перед увиденным. Ты хоть помнишь ее отца? Мужчину, который ее в тебе сотворил. Глядя на вас обоих, можно подумать, что Серена зачата от лунного света!

Отца? Какого? Я смутно припоминала нежного, вспылчивого и слегка инфантильного сорокалетнего мальчика, который сделал мне того прежнего ребенка (девочку? мальчика?) и умер. В этой реальности не было ему места, как не оказалось в той, откуда я пришла.

– Ладно. Примем мужа за неучтенный фактор, – смиловился Арккха. – Я так думаю, он записался в Серене так же, как и вся ее родня. Интересно, а то, чему я тебя сейчас учу, ей уже не передастся или, может быть, все-таки...

– Слушай и запоминай, – сказал он после паузы. – Как говорят рутены о своем Лесе?

– Легкие планеты. Они обновляют и порождают воздух, которым дышат все Живущие вплоть до них самих. Часть единого природного организма.

– Точно: однако для нас он значит куда больше. Впрочем, вы вряд ли способны понять свой Лес до конца. Лес – сердцевина цветка, лепестки которого – земные царства. Яйцо, в

котором зреет мириад семян, зародышей этих царств. Очаг животворного пламени, которое переплавляет все формы в смерти и извергает в жизнь обновленными. Это диковинные формы, иногда прекрасные, порой ужасающие, и мы видим лишь ничтожную часть из них, потому что не всегда присутствуем сами. Скажи, почему ты не испугалась нашего лесного дома и нас самих? Я ведь понял: волки у вас – убийцы голых двуногих и кротких, поросших шерстью.

– Наверное, я верхогляд и фаталист по своей природе, Арккха. Простак, как говорят, по одному недомыслию просочится невредимым там, где умный храбрец сломит голову. Рутены часто боятся гигантских обезьян, да и маленьких, с такими цепкими лапами; бродячих собак, лошадей, крыс, даже кошек. А я – никогда. От вида змеи как-то жуть взяла – так быстро скользнула мимо; и то по незнанию. Ведь красиво, когда малая коата струится по камню ручьем холодного серебра...

– Ты права и в то же время ошибаешься. Нет, просто не умеешь взглянуть в глубь творения. Но это вовсе не мое дело – судить тебя! Змеи, как и все лесное, не добры, не злы, не прекрасны, не уродливы – они просто есть, и твои понятия любви-ненависти к ним неприложимы. Но – и это странно – андры ненавидят: не только созданий, а, кажется, самую оболочку Леса, хотя им кормятся, им дышат и сами прекрасно знают об этом! Ты можешь объяснить?

– Мои предки выжигали поляны в своем бору и своей ро-

ще, чтобы распахать их и засеять хлебом. А сами не доверяли лесу и предпочитали селиться на равнинах неподалеку, на вольной земле, как они ее называли, и под вольным небом. Так что это мне знакомо.

– Ручаюсь, Великой Степи они тоже не доверяли, ежели не хотели насовсем отойти прочь от своих Медленно-Живущих. Это знакомо кхондам: ведь андры с колыбели пугают своих ребятишек «Широкой землей» нэсин, на которую их могут забрать.

– Кажется, там есть чего опасаться, – пробормотала я. Но Арккха мимоходом обмолвился о чем-то неизвестном для меня, и я уцепилась за это всеми зубами и когтями:

– Ты мне уже говорил, что андры теперь ходят под инсанами. В чем это выражается – платят дань золотом и темнокожими рабами, что ли?

– Только золотом. Инсаны каждый год берут детей, однако заложниками. Им, как всегда, достаются по преимуществу сироты или такие, с которыми трудно их родне. Инсаны держат их у себя двенадцать лет и учат своему искусству – возрождать иссякшее плодородие еще более быстро, чем это делает Лес, лечить болезни, такие страшные, с какими наши сукки никогда и не сталкивались, смотреть на звездное небо. А потом эти взрослые андры возвращаются домой.

– Похоже, андры получают нечто стоящее взамен своих пропавших денежек. У рутенов такие отношения назывались вассальными. Слушай, а инсаны, случаем, не обязуются за-

щищать андров от неприятельского нападения? Как бы выразить... От охоты других Живущих на андров?

– Погоди. Такое и вообразить себе теперь трудно – чтобы подобные нам по своей воле охотились на «голых шатунов». Сами нэсин, говаривают, – почти такие же любители позабавиться за счет наших младших Живущих, как и андры, и к тому же делают подобное на своей стороне Приграничья, но только они никогда не проливают крови сами. У них в правилах – обучать хищных летающих и кистоухих манкаттов приносить им добычу. Такое причиняет не больше смертей, чем дикая жизнь в глухих местах леса и степи. Ведь у тех двух племен есть свои леса и рощи, широкие пространства и реки, но все это не такое красивое, как наше... Нэсин напали на андров тоже по правилам: не губить тех, у кого нет в руках оружия, не разорять мирных городов и земель.

– Постой. Скажи мне об оружии. (Дословно – «гибельной остроте»: само название отдавало средневековой архаикой.)

– Победив, инсаны запретили андрам то, что нужно для войны. Железные летуны андров легки и мощны; широкие дороги их проходят в теле скал; крыши городов упираются в облака; многие пространства засеивают они тем, что пригодно в пищу. Но на охоте у андров – дедовские лук и стрелы, копья и кинжалы, а для защиты чести – тонкие и длинные мечи.

Арккха обрушил на меня уйму незнакомой терминологии, но я поняла.

– Холодное оружие в век развитых технологий – и никаких возможностей для массового перекрестного самоубийства! Прискорбно, ничего не скажешь. Только ведь и строительным кирпичом можно по голове шандарахнуть, и из гвоздемета продырявить насмерть, и из крысиного яда ОБ соорудить. А уж взрывчатка, которую используют для прокладки тоннелей, и подавно штука самая благодарная. У андров, наверное, психологическая заслонка в голове?

– Не думаю. И нэсин тоже этого не умеют, разве вот Белые... (Он слегка поперхнулся.) Приспособить орудие вместо оружия – вовсе не такое простое дело. Мы на своей шкуре попробовали.

– Ого! И что это было?

– Попытка прочесать Лес цепями андров и одновременно накрыть сверху летунами с мертвой жидкостью.

Я отметила про себя, что технический прогресс явно был заторможен – или сводился к бесконечному усовершенствованию уже имеющихся моделей. Прадеды вертолетов – и с тех пор никаких иных аппаратов тяжелее воздуха!

– Вы, как я вижу, уцелели: и Триада, и Лес.

– Но долго оправлялись. Андры тоже – полегло их без числа, и от своей же отравы, и от того, что Лесу оказалось не под силу держать Равновесие. Вот после этого мы и договорились с прадедами нынешних владык о... гм... о пожаротушении.

– Что у рутенов именуется компромиссом.

– Раньше-то наши Живущие ходили повсюду свободно, наподобие больших мунков, и к нам часто навевались добрые гости. По торговому договору.

(Я забыла сказать: денег у Триады не было, но обмен подчинялся довольно сложным правилам – существовали как бы пустые всеобщие эквиваленты для пересчета.)

– И андры не теснились внутри своего племенного пространства, хотя всегда к тому тяготели. У них это называется чувством родины. Да что! Они и свою живую природу за толкали в рамки и не позволяют быть такой, какой ей самой хочется. И членов своей триады, Каурангов-Вынюхивателей и Фриссов-Скачущих, держат за рабов и вечных младенцев, а Котов и вообще недолюбливают.

– Тогда триада у них фальшивая: неравномерная, с неравными гранями, и незавершенная. Я так поняла?

– Да, – Арккха весь напрягся. – Татхи, ведь ты другое тоже поняла, верно? И не сегодня, а гораздо раньше?

Помолчали.

– Наша триада, Татхи-Йони, – тоже неправильная. В ней нет главы, того, кто бы говорил с Верхней Силой. Кхонды вынуждены были взять на себя чужую роль. Коваши могли бы делать это куда лучше – я думаю, именно они и были для того предназначены, – но не осмелились взять такой залог. Вот и бродят с тех пор одни, не сливаясь ни с одним из племен.

В моей памяти молнией пробежали аналогии: каиниты и

город Баальбек, угольщики и друиды, маги и каменщики. Носители тайного знания, которого они порою сами боятся...

Вот, выходит, какая у меня роль, чтоб ее Черный Козел побрал: быть связующим звеном с трансценденцией или, по крайней мере, – военным советником.

«Успокоимся и попробуем нащупать возможности, – сказала я себе. – Голышом против латников тебя пока никто запускать не собирается».

Учение мое на том пока завершилось, и я получила передышку. Муж повез меня на самую окраину Леса, к охотничьей полосе. Решив свои семейные проблемы, он позволил себе сдать: ноги слушались его уже худо, и пришлось приспособить для него волокушу с двумя молодыми сукками в упряжи. Их это не так смущало, как меня, – я так и не посмела присесть рядом с Вождем, всю дорогу шла или бежала рядом.

Лес тут был иной, более регулярный. Когда его вырубает люди, а не чистят наши гигантские бобры, и потом делают посадки, это сразу выдает себя нарочитостью, как бы искусна ни была имитация. Так бросаются в глаза новые заплатки на старой ткани. И захламлено здесь было – не по обычаю наших кабанов, которые, разумеется, пытались тут прибраться, но постоянно становились в тупик. Что, скажите, можно сделать с кострищем в глубине пня, пепельной лысиной на

месте луга, ржавыми банками и стеклянной крошкой, запутавшимися в траве?

Сам Лес, тем не менее, стойко держал круговую оборону: выставлял вперед жесткий авангард кустарника, где на ветвях посреди поникших и скукоженных листьев висели лохмотья того, что было некогда нарядной одеждой, вдребезги разбитые приборы вроде часов, мобильных и зажигалок – все это было брошено с перепугу перед то ли лешими, то ли блуждающими болотными привидениями, которые чудились тут всем андрам без разбора. А сзади подлеска виделась тьма мирового чрева, сокровищница фантазмов и порождений смущенного духа.

– Ты не оглядывайся, Татхи-Йони, а смотри перед собой, – заметил Вождь.

Там простиралась поляна, низкая и редкая трава, избитая копытами, изъезженная полозьями; а еще дальше – обширное, исчерна-серое зольное пространство. Полоса отчуждения. Нейтральная полоса. Ядовитая граница страны андров.

– «А на нейтральной полосе цветы – необычайной красоты», – тихо спела я.

– Через эту гарь андры вместе со своими фриссами перелетают на своих вертячках, – пояснил Арккха. – Иначе боятся, хотя сами же и сотворили ее своей мерзостной жижей. Нам здесь находиться опасно и по той же причине, что андрам, и по иной: мы существуем тут, как дикие Живущие в андрских рощах, милостью хозяина. Поэтому смотри и вни-

кай – первый и последний раз в моей жизни.

Далеко вдали, сквозь некую дрожащую и сухую вуаль, ви-
сящую над выгоревшей равниной, округло рисовались то ли
сады и парки, то ли низкие холмы, поросшие зеленью. По-
середине вздымались блестящие пики или пирамиды, верши-
ны их ловили и отражали солнечный блик. На подступах вы-
сились ряды труб, стройные, как свирель Пана, – извергали
из себя белый, как вата, дым. Тихим жаром тянуло с той сто-
роны, будто разогревалась огромная плита.

– Не скажу, чтобы это зрелище было мне противным,
Вождь. Типичный субтропически-индустриальный пейзаж.

– А почему тебе должно быть противно? Мы не страну
андров не любим и не их самих, а то, что они творят. Разные
это вещи; и вовсе не одно и то же – не любить и воевать.

– Слушай, я пока не такой уж кхонд, чтобы ловить на лету
нити намеков и ткать из них полотно общей картины. Ответь
мне четко: вы сами предпринимали нечто против андров, по-
мимо пассивной обороны – того сидения в Лесу, о котором
ты поминал? Скажем, войну тихой сапой, партизанскую или
пионерскую (мое слово обозначало в этом языке сразу ночь
и фронт); не только вытеснение людей за пределы, но и...

– Мы никогда не бежим прямо на стрелу или копье здесь,
на окраине, – резко перебил он мое мямленье. – И правил
не соблюдаем. На охоте и полумразумный зверь имеет право
убить андра: это в порядке вещей, даже сами андры так счи-
тают. Мы пользуемся своим правом, и никто нам этого не

запретит.

– А когда поле охоты простирается на весь Лес или большую его часть – вот вам и работа для клыков и когтей, и неутомимая погоня волчьей стаи, и тупой клин сукков. Охотник меняется местами с дичью.

– Не только; хотя и это одно опасно для андров, ибо Триада обладает разумом. Мы умеем создать впечатление: когда Волки налетают во тьме и сбивают с ног фриссов, роняя всадников, и когда мунки с пронзительным криком осыпают пеших андров камнями из пращ, это выглядит еще страшнее, чем есть. И еще андры любят пугать себя кхондской гибелью, которая невидима и неслышима, ибо догадываются, что мы можем оборвать их существование издалека. Эта наша сила льется по земле и с трудом достигает до летунов – отсюда еще большая любовь к ним андров. Только и среди них попадаются удалыцы: мы убиваем – а им весело умирать. Какая прекрасная игра, Татхи-Йони, если бы ты знала!

– Регулярной войны с ними все равно лучше не затевать. Я плохо понимаю, как вы и в тот раз ее выдержали; а если Лес падет – и мы погибнем, и андры, да и нэсин, пожалуй, достанется.

– Им – не так уже: уйдут на ту сторону земли, – буркнул он.

Все-таки хитрец никак не раскрывался передо мною до конца. Что значит «уйдут» – и когда: до или после заварушки? Будут инсаны держать нейтралитет или нет?

– Довольно, я поняла самое главное: у Триады есть что противопоставить чужой силе. Теперь: сможем ли мы спровоцировать тех храбрецов, о которых ты упомянул? Не спрашивай только, зачем: сама не знаю.

– Выманить из скорлупы – работа легкая, – раздумчиво сказал Вождь. – Не то что туда загнать.

– А чем можно взять на испуг тех андров, которые ни в какую на Лес не пойдут, Арккха?

Он непонимающе воззрился на меня. Ну конечно, логика у меня типично женская, то есть нулевая: перескакиваю с одной мысли на другую, точно степняк, что едет одвуконь. Только и Арккха – не обыкновенный рутенский мужик с никакой интуицией.

– Ты мне декламировала как-то: «Бирнамский лес пошел на Дунсинан». Что в лесу? Триада.

– Конечно. А у андров – Псы и Лошади.

– Ну, Псы, эти плошколизы и вилехвосты, прямо-таки помешаны на собачьей верности. Они не захотят быть вдвойне предателями: ты знаешь, что они когда-то откололись от нашего племени и пристали к андрам?

– Не знаю, но по аналогии могу догадаться. Вдвойне предателями не захотят, говоришь. А вдвойне спасителями?

– Подумаем. Есть еще оборзевшие кауранги от запрещенных хозяевами любовных связей. Говорят, бродят даже по фешенебельным паркам и улицам, всем видом излучая презрительную тоску. Андры иногда считают их отродьем злых

сил, но не может того быть, чтобы никто их не подкармливал и даже не держал в доме. Фриссы... ну, эти туповаты, насколько я знаю, а дураки верны хозяину непробиваемо.

– Не все же они тупы.

– Я думаю о другом, Татхи, – Вождь покачал головой. – Большие мунки, вот кто нам нужен. Мунки-ремесленники, что населяют окраины андрских поселений. Мы ведь туда-сюда не ходоки, и нам всегда были нужны такие анд... такие двуногие, которые бы делали это для нас.

– Зачем им такую конфузность навязывать? У них с андрами торговля, а для такого дела нужно взаимное доверие.

– Конечно-конечно, – и фальшивые интонации у нас обоих.

Тут меня прорвало:

– Арккха, ты же по рутенским понятиям едва ли не едина плоть со мной, а по кхондским – обязан мне подчиняться. Есть ли смысл тебе хитрить с женой? Ведь не мунки – кто-то из настоящих андров приходит сюда, на пограничье, и гуляет понизу без боязни, как друг. Кто?

– Не приходит, – вздохнул он. – Живет.

Запись шестая

*Существование – мост между тем, что ушло,
и тем, что еще не рождено; звезда, которая*

отбрасывает два луча – вперед и назад. Мы существуем внутри этой звезды, внутри мгновения, которое каждый раз оправдывает свое бытие, творя из себя свое прошлое и свое будущее.

Вскорости он умер – в том своем особом шалаше: теперь я поняла, зачем он отселялся. Ради того, чтобы я и дети случайно не увидели того, что могло прийти неожиданно. Ритуал похорон был здесь краток и быстротечен – не то что жизнь. Хоронили даже без выпевания. «Всякий Живущий на земле подобен бытию земному, – читала старая Канди, – и желтеет, и увядает, и простирается по земле. Но – смотри! – семя его развеялось, и укоренилось в неведомых ему краях, и дает плод новой жизни».

Его опустили в глубокую яму, что вырыли сукки в отдалении от нашей последней стоянки, утрамбовали ее и прикрыли дерном, до того аккуратно срезанным с этого места. Никто не посмеет осквернить могилу кхонда, даже андр нечестивый, но от самой ее не должно остаться ни следа, ни памятной метки, ибо недостойно Волка цепляться за то, что уже перестало быть им.

Мне почти тут же стало не до печалей: я вынуждена была принимать решения, мне не свойственные, хотя я их же и подсказала, и совершать действия, превышающие мой природный запас хитрости. Мы с мунками слегка гримировали кхондов помельче ростом и побойчее смекалкой и отпускали за кордон под видом каурангов-«ронинов». Дело это вначале

было не такое уж хитрое, потому что только полосу отчуждения приходилось преодолевать в открытую, да и то в темноте. Приборы ночного видения у андров были, но до природных кхондских им было не дотянуться.

А тем временем мои вдруг повзрослевшие дети вели свои беседы, совершенно иные, чем у нас с их отцом, но почти о том же. Я затрудняюсь передать здесь эти речи дословно, куда более, чем когда речь идет о словах прагматика Арккхи и даже «четверорукого» поэта Рау. Серена владела не одним языком и не двумя, как я, а целым океаном. Если она пыталась навести мост между сходными понятиями латинского и кхондского, арамейского и мункского, отбрасывая тонкости триадных смысловых и обонятельных обертонов, внешняя сторона ее с Артхангом общения сводилась к дикарскому «твоя моя понимай». Пропадали озера полисемии, безбрежные моря значений схлестывались волнами, угасая, и тогда Серена, отчаявшись, посылала в придачу к словам осязаемо-образную, ароматизированную, ожившую в ее разуме картину; тем же отвечал ее брат. Это был невероятно быстрый и точный способ передачи информации: одного ему не доставало, скажем, на рутенский или иной подобный взгляд, – национального своеобразия и колорита. То бишь ментальности.

Здесь я перелагаю их речь в пространные диалоги, которых далеко не всегда была свидетелем, а если и была, то не вникала из деликатности. Поэтому я не имею права ни сей-

час, ни в других случаях, подобных этому, вести рассказ от своего первого лица. Тут я всего лишь передатчик.

Запись седьмая

Школа (философская, научная, общеобразовательная) – это вроде стрижки мозгов под полубокс. И похвальное единообразие в наличии, и мысленные паразиты не заводятся.

Утренний ветер колыхал ветки прибрежных берез, играя певучим сердцевидным листом, лениво шевелил низкими лапами иззелена-золотых пихт, а по пышным светлолистым осинам проходила – от пят до маковки – зябкая и зыбкая дрожь. Настоящим беззвучным шквалом рушился на долгую траву, перепутанную с мелкими и тонкостебельными цветами орихаллы...

...которые только что зацвели, и легчайший туман пыльцы поднимался над желтоватыми чашами, стлался по воздуху, будто переночевал у корней и пробудился только для того, чтобы улететь в дальнее странствие...

...задирал подол длинного белого платья, показывая смуглые, точеные ноги Серены, которая стояла, прислонившись к стволу. Ей, при ее наполовину кхондском, наполовину мункском образе жизни (бег всеми известными аллюрами и скоростное лазанье по ветвям), куда приличнее были бы штаны из чертовой кожи, причем настоящей, а не тка-

ной: что до ткани – был во времена детства ее мамочки такой материал, типа обоюдосторонней байки, так вот он просто подделывался под то, что нынче требовалось «двуногому кхондскому дитяти». Однако на сей раз дошлые мунки собезьянили для Серены андрское платье девицы среднего класса: на плечах его поддерживали фибулы – такой, по правде, тонкой работы, какая «разорителям и погубителям» и не снилась, – по бокам до пояса шли типично спартанские разрезы, а сквозь его шелковый батист просвечивало все, что только могло просвечивать. Первозданного стыда Серена искони не испытывала, в отличие от андрок, которые имели его и поэтому бравировали тем, что всякий раз заново через него переступали; оттого платье приносило ей несколько меньше радости, чем рассчитывалось. Красиво – да, экзотично – без спора, зато на ствол не очень-то заберешься: мануфактура выдержит, собственная Серенина кожа ничуть ее не прочнее, только вот полы будут в ногах путаться.

(А откуда вообще появляется стыд? Наверное, выползает из щели между истинным и вымышленным мирами, между естественностью самих голокожих Живущих и коренной неестественностью их существования, размышляла иногда я на досуге.)

Артханг лежал у вышеупомянутых ножек во всем великолепии тонкого и плотного летнего меха, не исчерна-серого, как у большинства мужчин, а рыжевато-каштанового, в тон глазам. Легчайший платиновый отблеск, что играл на нем,

все как бы углубляясь после каждой линьки, пристал бы не юнцу, а скорее женщине – не девушке, а именно женщине в расцвете летней зрелости. Самому Артхангу, тем не менее, было не до впечатления, которое он сегодняшний производит на самцов и самок. Он испытывал сейчас ту живейшую радость и облегчение, какую ощущает всякий кхонд, с которого мунки только что счесали полумертвый и тусклый подшерсток: что получше – маме Татхи на попоны, что похуже – на плотные подушки и матрасики для грудных мунчат.

– Ты его наяву видел, Арт? Этого манкатта?

– В том-то и дело. Уж сколько я перевидел андрских манкаттов-изгоев, а такого встретил впервые. И ростом крупнее, и масть иная, изжелта-светлая, а главное – повадка. Помнишь, ты рассказывала про рутенскую рысь, у которой еще на ушах кисточки. Не телом, не мастью, а вот взглядом подобен точь-в-точь. Отец года два назад...

– Что – отец?

– Я тогда при нем один случился – он спал в тени. Скакнула с ветки, прилегла к нему рядом на ковер и лизнула в нос. Я перепугался, потому что никогда не видел никого подобного ей. А он сказал: «Не трогай ее, это друг».

– Самка? Женщина?

– Да. Она поговорила с отцом, а о чем и на каком языке – я не понял. И ушла по верхам так тихо, что ни один мунк не почувял.

– Думаешь, она от нэсин?

– Та первая – точно. Но кто был сегодня – не знаю: может быть, она, может быть – только из их племени.

– Ради чего они заходят так далеко, Арт?

– Почем знать. Старшие кхонды и то не всё понимают в иноземных триадах. Отец знал куда больше, только, ручаюсь, он и маме этого не передал – разве что самое насущное. Чтобы узнать, надо своей шкурой испробовать – помнишь, как он говорил?

– Инсаны вообще загадка. Ты слышал, что они называют себя Странниками?

– Подумаешь. Мы тоже кочевое племя – ну, племена. Рассказывают, что они возят свои дома с собой, как Болотные Мунки, а не размещают по всему Лесу, как мы. Так ведь лучшее и мы с собою таскаем.

– Так ведь то, что получше, и Болотники прячут в потайном месте... – в тон ему и с легкой насмешкой добавила Серена. – Нет, я о другом говорю. То, что инсаны постоянно движутся по лицу своей жаркой земли – не удивительно. Я думаю, им хочется от нее многообразия. Но вот в глубинах ее стоят пустые и ждущие города много прекраснее андрских, дома и сады – это леса плодовых деревьев, братик, – ручьи и реки, которые вытекают из глубинных морей и впадают в подземные озера. Небо там, под базальтовым камнем, из глубокого хрусталя и еще светлее нашего; и нет там ни солнца, ни мороза.

– Откуда ты взяла такую небылицу? Ну, положим, мороза

и тут нет, что он такое, я знаю опять же от тебя и еще Ратшин родитель говорил о снежных и ледяных горах много выше уровня океана... А как можно кому бы то ни было без солнышка прожить?

– Значит, и инсаны не живут. Только нет, там другое солнце. Ты подумай: вот у нас оно ласковое, нежное, пока до нас дойдет, весь пыл отдаст веткам и листьям. А у андров огнем жжет. Ты думаешь, почему они так боятся наших пожаров? Потому что тощие андрские рощицы что ни лето полыхают. Я не спорю, может быть они нас и задирают, и поломать союз пытаются: но я замечаю только, что в них нет любви к небесному пламени. Один страх и, пожалуй, благоговение. Вот тебе два лика солнца: почему бы не быть и третьей ипостаси?

– Выдумщица.

– Имей в виду, Артик: что я выдумаю – становится явью.

– Ох, кое-то сильно испугался, – фыркнул он. – Вот сейчас хвост подожму, только погоди маленько. А инсаны тебе, вижу, шибко нравятся.

– Не сказала бы. Я ничего толкового ни об андрах не знаю, ни о них. Вот ты видел их Кота или Кошку... Они одно со всей своей триадой, не как андры, и инсан никогда не появляется без своего коня или манкатта, а то и обоих, даже в высшем совете. Мне это кажется добрым.

– Оказывается, ты знаешь не только записанное в крови, а и то, что рассеяно в лесном воздухе.

– Мама говорит, что я читаю знаки Леса: всё, что прини-

мают в себя кхонды, и мунки, и сукки, и всякая лесная мелочь. Но неточно: будто во мне прокручиваются папирусы, свитки, перелистываются кодексы.

– Это что еще такое?

– Знание, прикрепленное к лава-лаве или другой жеваной материи рисованными значками. Рутены так делают и андры, мне говорили, тоже.

– Но это ведь так примитивно.

– Зато отлавливать информационных рыбок из окружающей среды, не понимая, какой они породы, и увязывать со всей массой твоего знания – достойнейшее развлечение наших интеллектуалов. Полно, у меня на такое ума не хватает.

– Это потому, что ты ищешь, – пояснил Артханг с важностью. – В тебе, наверное, расставлен целый сад указателей – как на перекрестках расходящихся тропинок. А надо не искать, а замереть внутри себя, чтобы нужное знание само тебя отыскало.

– Прелестная метафора сознательной и подсознательной работы мозга. Эх, братец, такое со мной разве что во сне бывает.

– Каком сне? Расскажи!

– Это долгий разговор, – Серена присела на корточки, обхватив руками колени. – Я ведь сначала не понимала, чем отличаюсь от прочих наших Живущих, да и сейчас, по правде говоря, не совсем. Вы ведь разные и поэтому думаете на разный манер: кто отрывистыми звуками, кто мелодией, кто

картинками или клубком ароматов. И каждый из вас сам по себе, а не просто один из племени себе подобных... А через меня все время будто лился какой-то поток, точно волосы через гребенку, но очень быстро, и я не успевала понять то, что усваивала. Это началось еще когда я была внутри, и продолжалось под кхондским небом. Есть два рода вещей: первые ты трогаешь руками, и они сливаются в... как бы тебе сказать... мир твоей игры, мир, где ты играешь, сталкиваешься, взаимодействуешь с такими, как ты, детьми, мелкими и крупными. А вещи второго рода сами с тобой то ли играют, то ли учат тебя. Это мир школы.

– Школы? Что это за слово?

– В Лесу ведь тоже учатся в собраниях, но это не называется никак. В маминой стране Рхутин есть дома, которые называются «Кормушка для скота», «Плодовая роща», «Ручной костер в доме». **Ясли, сад, очаг.** Это для малышей, а люди постарше учат и учатся, будто бы стоя под портиком, прислонившись к одной из его колонн – **схоле**. Ты не упирайся в образы, это я ищу для тебя слово-пароль. Оно было **«Учитель»**.

– То, что у нас Наставник кхондов?

– Не совсем. Наставники дают вам Закон и Умение, а мой Учитель учил меня искать это в самой себе и быть самой собой.

– Разве этому надо учить?

– Вас, пожалуй, нет. Я же помню из моей родовой исто-

рии только преподавателей, которые всовывают в твою голову факты. Хотя самые лучшие из них всегда тайком дарили ученику умение мыслить на своей собственный лад.

– Наши Наставники покажут тебе все, о чем ни спросишь, но никогда не дадут этому окончательной оценки. Оцениваешь и приспособливаешь в себе ты сам.

– Вот подобный Учитель был и у меня. Он то ли не мог, то ли не желал, чтобы я его видела, чтобы не влиять на мою душу. Когда он появился в первый раз – то был черный с золотом туманный шар поблизости от моего лица, а иногда круглое, чуть сплюснутое яйцо под моими ногами, голубое и зеленое, и оттуда исходило дружество. Да, вот верное слово – **дружество**.

– Ты ли-це-зрела мир с высокого птичьего полета, – добавил Артханг, объясняя скорее себе, чем сестре. Его тихий мыслеобраз вплелся в речь Серены, подобно ленте, нимало ее не исказив.

– Разве есть такие среди наших Летающих, братик?

– Некто знает, – неопределенное «некто» значило в языках Триады то же, что безличное «говорят», но еще более авторитетное и тайное. – Крылья этого Летающего парят под тучами, но разглядеть его нельзя и в самый ясный день; и он может поднять тебя с травы, по видимости не поднимая.

– Должно быть, меня и в самом деле поднимали, не поднимая: ведь потом я стремительно падала прямо в шар и слышала вдогонку: «Сегодня – битва франков с сарацинами

при Пуатье, обратный вариант, кончившийся победой мусульман», или: «Социократия Древнего Египта», или: «Золотой век империи гуанчей». А то и просто: «Иди и смотри»... Это было то же, что вписано в мою кровь, но подробнее, пристальней рассмотренное, вставшее дыбом со страницы одной из книг мудрости, полное запахами пыли и пота, аксамита и тряпок, красочное, как одежда скомороха, тусклое, как древняя риза, тяжелое, будто щит; оно проходило сквозь меня, как двойное рогатое копьё, и навсегда во мне оставалось.... А Учитель называл даты, клеил марки, ставил меты, иногда совсем уж непонятные тебе или маме: «Хабиру в Новом Свете – перстень из золота, средний виток; атолл Муруроа – кольцо из яшмы, печать из вороненого серебра; коронация джиннии Софии – обруч из орихалка, или, что то же, электрума, перевернутая рубиновая звезда о пяти лучах». Все эти фигуры вместе составляли Лабиринт, Дом Секиры, в который вписан свернутый спиралью и закрученный листом Мебиуса вечный Путь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.